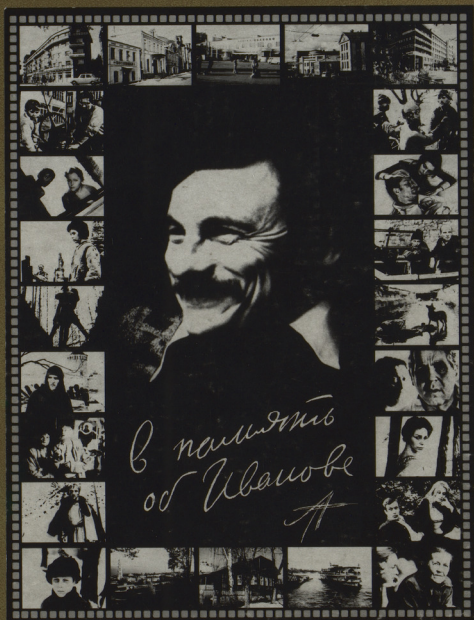
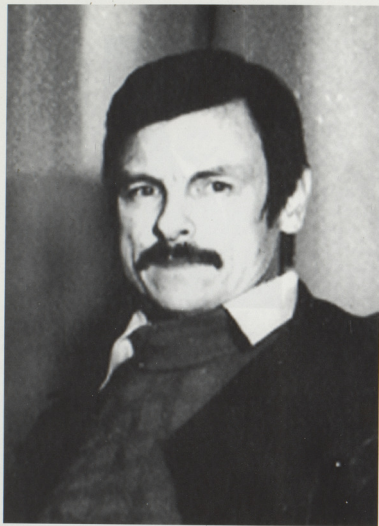


85.374.3(2P)-8

Н 37



# НАШ ЗЕМЛЯК АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ



«Во всех картинах, которые я делал, всегда была важна тема корней, наших связей с отчим домом, с детством, с отечеством, с Землей. Для меня всегда было важно напомнить самому себе о том, откуда я вышел. Национальное чувство — это одно из главных составляющих в определении духовного типа человека».

Андрей ТАРКОВСКИЙ

1

НАШ ЗЕМЛЯК АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

# ИСТОКИ



Освобожденные...

Вспомнил эту книгу, как пытался ее замкнуть ее узкими  
судимыми рамками. Нам кажется, что образ непреодо-  
лимости нашего времени соответствует чрезвычайно важной про-  
блеме, которую можно обозначить так: «Взгляд Тарковского

«Я очень хорошо помню свое детство, потому что  
это самый главный период моей жизни. Он определяет  
все будущее человека, особенно если оно связано с твор-  
чеством, с проблемами внутренними, психологически-  
ми. Человек питается детством всю свою зрелую твор-  
ческую жизнь».

Андрей ТАРКОВСКИЙ

жизни, свидетелем культуры и культурном, интеллектуаль-  
ном потенциале современной русской провинции.

Нам очень хочется, чтобы с этой книгой познакомились  
не только те, кто жил в одно время с великим режиссером, но  
и будущие поколения. Большое искусство не существует в  
привычном времени. Оно — в настоящем и будущем.

«Тарковский был великим помощником в сложнейшей борьбе  
за собственное "я", за чистоту, за красоту и родную... Рас-  
сказывайте о нем чужим, рассказывайте о нем своим, пусть все  
будет так, как вы видите его».







*Арсений Тарковский (1907–1989)*

\* \* \*

Плыл вниз от Юрьевца по Волге звон пасхальный,  
И в легком облаке был виден город дальний,  
Дома и пристани в дыму береговом,  
И церковь белая на берегу крутом.  
Но сколько б из реки чужой воды я не пил,  
У самых глаз моих висит алмазный пепел,  
Какая б на глаза ни оседала мгла,  
Но в городе моем молчат колокола  
Освобожденные...

слове,  
т крови

В траве на кладбище глухом,  
С крестом без надписи, есть в городе моем  
Могила тихая. — А все-таки он дышит,  
А все-таки и там он шорох ветра слышит  
И бронзы долгий гул в своей земле родной.  
Незастылаемы летучей пеленой,  
Открыты глубине глаза его слепые,  
Глядят перед собой в провалы голубые.

1932

# КОЛЫБЕЛЬ

Андрею Т.

Она:  
Что всю ночь не спишь, прохожий,  
Что бредешь — не добредешь,  
Говоришь одно и то же,  
Спать ребенку не даешь?  
Кто тебя еще услышит?  
Что тебе делить со мной?  
Он, как белый голубь, дышит  
В колыбели лубяной.

Он:  
Вечер приходит, поля голубеют, земля сиротеет.  
Кто мне поможет воды зачерпнуть из криницы  
глубокой?

Нет у меня ничего, я все растерял по дороге;  
 День провожаю, звезду встречаю.  
 Дай мне напиться.

Она:

Где криница – там водица,

А криница на пути.

Не могу я дать напиток,

От ребенка отойти.

Вот он веки опускает,

И вечерний млечный хмель

Обвивает, омывает

И качает колыбель.

Он:

Дверь отвори мне, выйди, возьми у меня

что хочешь –

Свет вечерний, ковш кленовый,

траву подорожник...

1933

\* \* \*

Под сердцем травы тяжелеют росинки,

Ребенок идет босиком по тропинке,

Несет землянику в открытой корзинке,

А я на него из окошка смотрю,

Как будто в корзинке несет он зарю.

Когда бы ко мне побежала тропинка,

Когда бы в руке закачалась корзинка,

Не стал бы глядеть я на дом под горой,

Не стал бы завидовать доле другой,

Не стал бы совсем возвращаться домой.

1933

\* \* \*

Река Сугаклея уходит в камыш,  
Бумажный кораблик плывет по реке,  
Ребенок стоит на песке золотом,  
В руках его яблоко и стрекоза.  
Покрытое радужной сеткой крыло  
Звенит, и бумажный корабль на волнах  
Качается, ветер в песке шелестит,  
И все навсегда остается таким...  
А где стрекоза? Улетела. А где  
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.

1933

### НА БЕРЕГУ

Он у реки сидел на камыше,  
Накошенном крестьянами на крыши,  
И тихо было там, а на душе  
Еще того спокойнее и тише.  
И сапоги он скинул. И, когда  
Он в воду ноги опустил, вода  
Заговорила с ним, не понимая,  
Что он не знает языка ее.  
Он думал, что вода – глухонемая  
И бессловесно сонных рыб жилье,  
Что реют над водою коромысла  
И ловят комаров или слепней,  
Что хочешь мыться – мойся, хочешь – пей,  
И что в воде другого нету смысла.

И вправду чуден был язык воды,  
Рассказ какой-то про одно и то же,  
На свет звезды, на беглый блеск слюды,  
На предсказание беды похожий.  
И что-то было в ней от детских лет,  
От непривычки мерить жизнь годами  
И от того, чему названья нет,

Что по ночам приходит перед снами,  
От грозного, как в ранние года,  
Растительного самоощущенья.

Вот какова была в тот день вода  
И речь ее — без смысла и значенья.

\* \* \*

Да не коснутся тьма и тлен  
Июньской розы на окне,  
Да будет улица светла,  
Да будет мир благословен  
И благосклонна жизнь ко мне,  
Как столько лет назад была!

Как столько лет назад, когда  
Едва открытые глаза  
Не понимали, как им быть,  
И в травы падала вода,  
И с ними первая гроза  
Еще училась говорить.

Я в этот день увидел свет,  
Шумели ветви за окном,  
Качаясь в пузырях стекла,  
И стала на пороге лет  
С корзинами в руках и в дом,  
Смеясь, цветочница вошла.

Отвесный дождь упал в траву,  
И снизу ласточка взвилась,  
И этот день был первым днем  
Из тех, что чудом наяву  
Светились, как шары, дробясь  
В росе на лепесткелюбом.





\* \* \*

И это снилось мне, и это снится мне,  
И это мне еще когда-нибудь приснится,  
И повторится все, и все довоплотится,  
И вам приснится все, что видел я во сне.  
Там, в стороне от нас, от мира в стороне  
Волна идет вослед волне о берег биться,  
А на волне звезда, и человек, и птица,  
И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.  
Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,  
Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду  
Один, как сирота, я сам себя кладу,  
Один, среди зеркал — в ограде отражений  
Морей и городов, лучащихся в чаду.  
И мать в слезах берет ребенка на колени.

1974

### БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Камень лежит у жасмина.  
Под этим камнем клад.  
Отец стоит на дорожке.  
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,  
Центифолия, а за ней —  
Вьющиеся розы,  
Молочная трава.

Никогда я не был  
Счастливей, чем тогда.  
Никогда я не был  
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно  
И рассказать нельзя,  
Как был переполнен блаженством  
Этот райский сад.

1942

Андрей Тарковский

## БЕЛЫЙ ДЕНЬ

*Давно мои ранние годы прошли  
По самому краю,  
По самому краю родимой земли,  
По скошенной мяте, по синему раю,  
И я этот рай навсегда потеряю...*

Арсений Тарковский. Песня

Все вокруг мокрое. И листья прибрежного тальника, и трава, и тихие придорожные ветлы. Унжа мутная и стремительная после августовских ливней. Мы идем босиком по скользким и твердым тропинкам. Ноги мои в постоянных цыпках и невыносимо чешутся. Тропинки бегут рядом, пересекаясь, среди высокой крапивы, запутанной в растрепанную паутину с прилипшими к ней розовыми листьями облетающей черемухи. По соседней тропке, сложив руки на животе и прижав локти к бокам, идет моя мать. Время от времени она беспокойно поглядывает в мою сторону. Над нами тучей носятся комары.

День похож на затянувшиеся сумерки, и порой возникает то чувство раннего утра и выигранного времени, то грустная тревога надвигающейся ночи. Перемена этих впечатлений такая резкая и неожиданная, что прерывается дыхание и начинает колотиться сердце.

Мы выходим на вытопанный скотиной выгон. Сгорбленная старуха в намокшем ватнике ковыляет в сторону деревни, погоняя взбрыкивающего телка. Мать спрашивает у нее дорогу. Старуха суетливо проводит ладонью под платком и с любопытством оглядывает нас с ног до головы. Ее маленькое лицо с живыми глазками забурело от солнца, и только глубокие морщины остались белыми.

— Или захворала? Сами-то откель?

— Да нет, мы знакомые просто, — поправляя промокший воротник кофты, отвечает мать. — В гости. По делам, то есть...

Она болезненно улыбается и, отвернувшись, смотрит в сторону.

— Дык ведь и дошли уж. Вон, под березами-то, пятистенка, крайняя, по-над берегом. Только поспешите, а то, слышать, доктор-то в город собирался. Только какой щас город...

— По-над берегом так и идти? — оживляется мать.

— Во-во, так и дойдете, — теряя к нам интерес, бормочет старуха.

Мы направляемся в сторону рощи, маячащей впереди, над поворотом реки.

— Ма, а что такое пятистенка? — спрашиваю я.

— Просто большая изба с пятью стенами, — отвечает мать и, неожиданно поскользнувшись, оступается.

— Черт побери, — сердится она.

— Как это — с пятью?

Мать поднимает с земли прут и чертит на тропинке прямоугольник. Она считает своим долгом все объяснять мне обстоятельно и исчерпывающе ясно.

— Что ты на меня смотришь? Смотри сюда. Здесь четыре стороны в этом прямоугольнике. Обычная изба. А если посередине еще стена, то это уже пятистенка.

Она пересекает прямоугольник прутом и при этом задевает зеленовато-известковую колбаску гусяного помета. Я ухмыляюсь.

— Чему ты радуешься? — обиженно говорит мать и зябко запахивается кофтой. — Ох, Сергей, Сергей... — вздыхает она. — Ну, теперь ты понял? Понял, что такое пятистенка?

— Угу, — отвечаю я. — Я и сам знал, только забыл.

Мать, наверное, считает, что я не догадываюсь, зачем мы идем в Завражье, в дом врача Соловьева, коллеги давно уже умершего моего деда. Но мне все известно. Я понял это по раздраженному шепоту матери, когда она разговаривала на кухне с бабушкой, и бабушка, взмахивая рукой, покрытой большими коричневыми веснушками, восторженно и в то же время жалобно восклицала с какой-то даже гордостью:

— Господи, Ира! Да у них три коровы и денег куры не клюют! Ты только скажи, что ты дочь Алексей Матвееча!

— Да тише же ты, мама, ей-богу! — понизив голос, сердилась мать. — Какая я дочь, что ты вечно выдумываешь? Они хоть помнят тебя?

— Да как же не помнить? — всплеснув руками, высокомерно возмущалась бабушка. — Алексей Матвееч и на охоту его возил, и жену его лечил! Сам-то Соловьев пешкой ведь был! Понимаешь ты — форменной пешкой! — почти кричала бабушка. — А сколько Алексей Матвееч добра-то ему перевозил! Ружей-то одних сколько передарил!

— Мама, мама, tais — toi!<sup>1</sup>, — поглядывая на дверь, раздражалась мать.

Бабушка начинала мелко-мелко перебирать на коленях складки вытертой ситцевой юбки, сморкаться в грязную тряпицу и вытирать веснушчатый пальцем грустные, безнадежные слезы.

— Ты не продешеви только, Ира, — тихо говорила она, глядя на свою беспокойно спящую по коленям руку. — Их Алексей Матвееч еще из Италии при-

<sup>1</sup> Замолчи (франц.).

вез. Я в свое время в «Торгсин» их хотела снести... Все твоего Осика апельсинками кормила! — вдруг закричала она.

Мать стояла у кухонного окна, заставленного чугунами и грязной посудой, и, держа что-то на ладони, внимательно разглядывала, подняв брови и облизывая губы кончиком языка.

— Мне только их и недоставало, — тихо сказала она.

— Делайте, что хотите, — вдруг трагическим голосом объявила бабушка, став с табуретки, и пошла вон из кухни. Но на пороге остановилась и, протянув в сторону матери свой пятнистый палец, крикнула:

— Права, права ты была! Тыщу раз права! И какого дьявола я к вам в Москву поехала?! Не понимаю! Так мне и надо! Все бросила. А как же?! — повышала она голос, деланно смеясь и словно передразнивая кого-то. — Осенька умирает! Голубку продали. Ведь лучшая корова в Юрьевце была! Спроси у Эмилии Порфирьевны! Спроси, она не совет!

— Мама! — морщилась мать. — *Ferme la porte et ne crie pas. Les enfants sont dans la chambre*<sup>2</sup>.

Бабушка возвратилась на кухню и закрыла за собой дверь. Там они опять о чем-то шептались, совещались, бабушка всхлипывала, мать иногда вскрикивала в отчаянии. Потом она вошла в комнату и спрятала что-то завернутое в тряпочку на верхнюю полку буфета. Я-то знал, что она там прятала.

Я был хитрым и наблюдательным. Хитрость оплодотворяла мою наблюдательность и вместе с неумением ее скрывать выкристаллизовывалась в какую-то отвратительную и болезненную незащищенность. Незащищенность же эта своеобразно выражалась в моем патологическом нежелании действовать в нужный момент. Я окончательно заскоруж в сладострастном эмпирическом пафосе. Я был похож на растение. На тыкву, с практическим умыслом выпускающую завивающийся ус, чтобы за что-нибудь уцепиться. Беда в том, что я так ни за что и не цеплялся. Тыква была ненормальная... Усы ее не стремились к опоре, а с бесполезной напряженностью вздрагивали в зеленой парной темноте огородной зелени, лишенные цели. Меня успокаивал огород. Он царственно покрывал пространство между домом, в котором происходил сакраментальный разговор на кухне, и тремя заборами. Один отделял его от улицы, ведущей вверх, в гору, к кирпичной выбеленной Симоновской церкви, другой — от соседского участка, а третий, с калиткой на веревочных петлях, — от нашего двора, заросшего лебедой и растением, названия которого я не помню, — с шишечками, похожими на цветущий подорожник, которые пачкали руки черным, если их раздавить между пальцами... Все три забора были старыми и поэтому прекрасными. Заборы — это особая тема. Заборы после дождя, когда на них светит солнце...

<sup>2</sup> Закрой дверь и не кричи. Дети в комнате (франц.).

Симоновская церковь была окружена древними липами и березами. Я помню, как давно, еще до войны, ломали ее купола. Мужики набросили канат на узорный кирпичный барабан, привязали его концы к основанию стоящей рядом березы, просунули между ними вагу и крутили ее наподобие резинового пропеллера до упора... Затем всем телом кидались на звенящий канат и в такт раскачивались на нем до тех пор, пока основание купола не поддавалось: кладка начала крошиться, трескаться, из нее вываливались кирпичи, грохались о кровлю, крест медленно кренился, и, наконец, все сооружение обрушилось сначала на железную крышу, потом с оглушительным шумом вниз, ломая длинные, почти до самой земли, косы берез, и со скрежетом ударились о землю, подняв известковую пыль, которую стремительным облаком унес в сторону порывистый волжский ветер. Вокруг церкви стояли бабы, мелко крестились и вытирали слезы. Купола лежали у подножий исковерканных берез, лопнувшие, раздавленные, с засиженными птицами, погнутыми ажурными крестами и запутавшимися в них оборванными ветками с гляцевитыми листьями, дрожащими в ярком июльском зное.

В то далекое довоенное утро я проснулся от счастья. В окна бил праздничный солнечный свет и падал оранжевыми прямоугольниками на блестящий крашенный пол. Солнце, пронзительно вспыхнув, капризно преломлялось в граненом флаконе и радугой разбрасывалось по белизне фаянсового умывальника, стоявшего в углу. За открытой дверью, из-за которой выглядывала изнанка дивана, никого не было. Я сел на высокую, позванивающую дутыми никелированными шарами кровать и свесил ноги. Определенно что-то произошло. Вымоленное, давно ожидаемое и по-детски выстраданное. Комната была наполнена солнечными отражениями, дрожащими на гладко выструганных медовых стенах полутеньями кружевных занавесок, бродивших по полу и вызывающих привычное головокружение, от которого пол уходил из-под ног, скользящими по потолку серыми призраками, соответствующими людям, собакам и повозкам на улице, неразборчивыми голосами из коридора и кухни. Звонкий отзвук железной дужки о ведро, плеснувшая на качнувшуюся лавку колодезная вода, свежий глуховатый шум с улицы, доносящийся через открытое окно с кустами домашнего жасмина на подоконнике, — все это были лишь подобия того, что меня обычно окружало, когда я просыпался и светило солнце. Сейчас все было иначе. Сейчас все знало о чем-то важном и радостном, а я проспал и не смог вместе со всеми обрадоваться неожиданно случившемуся счастью. Я посмотрел через раскрытую дверь в соседнюю комнату и на полу, около дивана, увидел туфли. Туфли с тонкими перемычками и белыми пуговками. Я никогда не видел их раньше, но мгновенно все понял и бросился к дверям босиком, в длинной ночной рубашке и, обалдев от радости, остановился на пороге. Около зеркала, освещенная белым солнцем, стояла моя мать. Она, наверное, приехала ночью, а теперь стояла у зеркала и примеряла серьги, поблескивающие золотыми искрами и матово сияющие бирюзой.



...Мы долго стояли на низеньком, без навеса, мокром крыльце. На осторожный стук матери никто не отзывался, а толкнуть дверь и войти без стука, как принята в деревнях, она не решалась. Все-таки дом врача! Хотя дом этот ничем не отличался от деревенской избы. Правда, он был очень большой и, насколько я помню, без единого окна с той стороны, где находилось крыльцо, на котором мы стояли в некотором смятиении.

— Может, их нет никого? — с надеждой пробормотал я. Уже смеркалось, и все вокруг погружалось в холодный туман, сквозь который едва различалась широкая и мелкая в этом месте река и оцепеневшие в безветрии березы.

— Сергей, ну-ка, походи посмотри с другой стороны. Может быть, там кто-нибудь есть? — Мать озабоченно посмотрела на меня и поняла, что мне ужасно не хочется никуда идти и смотреть, потому что я очень боялся увидеть этого «кого-нибудь». Меня бросило в жар, и я потерял без того расчесанные ноги намокшим рукавом курточки.

— Боже мой, перестань чесаться, я тебе тысячу раз говорила!

— Давай лучше постучим погромче. Один раз стукнула еле-еле... Думаешь, они так сразу и прибегут, — ответил я, умоляюще глядя на мать.

— Тогда постой здесь, я войду с другой стороны.

И снова я испугался. Я представил себе, что, когда мать скроется за углом, дверь откроют, и я, не зная, что сказать, буду глядеть на доктора Соловьева, появившегося на пороге, стоя на мокрых ступеньках в своем дурацком лыжном костюме, который бабушка сшила мне из полосатого байкового одеяла. Двойная полоса была на штанинах в самом низу, на рукавах и поперек живота. На этот мой испуг мать постаралась не обращать внимания. Она спустилась с крыльца и уже шла по блестящей в тумане тропинке, ведущей за угол, когда неожиданно загрохотал железный засов. Я бросился за матерью, догнал ее и сказал, задыхаясь:

— Мам, там открывают...



«Зеркало»





«Зеркало»

смутилась она.

— Алексей Матвеич? Какой Алексей Матвеич? — Хозяйка придерживалась за дверной косяк и в этой позе казалась особенно настороженной.

— Попов... Алексей Матвеевич... Врач. Он раньше жил здесь, в Завражье, а потом переехал в Юрьевец. Там он стал судебно-медицинским экспертом, — настойчиво объясняла мать.

— А-а-а... — вдруг разочарованно протянула Надежда Петровна и убрала руку с косяка. Я даже заулыбался от радости.

— Дмитрия Ивановича сейчас дома нет... Он...

— Да мне, собственно, вы нужны. У меня к вам маленький дамский секрет, — снова улыбнулась мать.

В глазах Надежды Петровны мелькнуло не то недоверчивое любопытство, не то страх.

— Ну, проходите, что же здесь-то стоять... — вдруг позволила она.

Дом этот только снаружи был похож на избу. Вместо сений я увидел нечто вроде прихожей с гладкими крашеными полами и зеркалом, висящим на стене в овальной раме. В углах стояли окованные металлическими полосами сунду-

— Что с тобой? — стараясь казаться спокойной, спросила она, возвращаясь к крыльцу. В проеме двери, озаренном уютным теплым светом, стояла высокая белокурая женщина в голубом шелковом халате. При виде этого халата я взглянул на мать и проглотил слюну.

— Здравствуйте, — сказала мать и улыбнулась. Улыбка эта означала для меня и конец долгого унылого пути, и нелепую надежду на то, что нас встретят с распростертыми объятиями и, может быть, даже накормят.

— Здравствуйте... — недоуменно ответила женщина в халате, и я подумал, что недоумение ее справедливо. — Вам кого?

— Вас, наверное, — все так же улыбаясь, ответила мать. — Вы Надежда Петровна?

— Да, а что? Я вас раньше... Я что-то...

— Видите ли, — обстоятельно начала мать, — я падчерица Алексея Матвеевича Попова. Они, кажется, дружили с вашим мужем. Я уж там не знаю, —

ки, а над входом в кухню висела начищенная керосиновая лампа с красивым матовым абажуром какого-то почти оранжевого цвета. Громоздкие блестящие шкафы с медными ручками и замками. Вешалка у дверей с непонятным кругом внизу. Через много лет я узнал, что круг этот предназначался для зонтов и тростей. Господи, для тростей!

— Вытирайте ноги только. Маша полы мыла, — сказала Соловьева.

Мы аккуратно вытерли ноги. Мать, наверное, для того чтобы подбодрить меня, даже сделала это с нарочитой старательностью и, как ей, очевидно, казалось, не без веселой иронии. Больше всего я боялся, что хозяйка оглянется и увидит, что мы босые. Глупо было как-то и обидно вытирать босые ноги о сырую мешковину, расстеленную у порога. Это было ни к чему. Тот, кто ходил босиком по мокрой траве, знает, что от этого ноги становятся такими чистыми, будто их долго мыли в теплой воде с содой и мылом.

Надежда Петровна открыла дверь на кухню и, зябко поеживаясь в своем халате, обернулась к нам.

— Сергей, ты посиди пока здесь, я сейчас вернусь. Мы ненадолго, — бодро сообщила мать Соловьевой.

Я остался один, сел на стул, стоящий напротив зеркала, и с удивлением увидел в нем свое отражение. Наверное, я просто отвык от зеркала. Оно казалось мне предметом совершенно ненужным и поэтому драгоценным. Мое отражение не имело с ним ничего общего. Оно выглядело вопиюще оскорбительным в резной черной раме.

Я встал со стула и пересел на сундук.

Из-за закрытой двери до меня доносились неразборчивые голоса, звякающее хлопанье каких-то ящиков или дверок буфета, потом неожиданный смех Надежды Петровны. И мне почему-то стало хорошо. Неожиданно дверь открылась.

— Бросили мы тебя тут, да? — весело спросила Надежда Петровна. — Тебя как звать?

— Сергей, — ответил я и встал с сундука.

— Вы знаете, — сказала она матери, вслед за ней появившейся на пороге, — а у меня тоже есть сын. Не такой большой, конечно. Ой, господи, трудно сейчас с детьми, война как-никак. А мне еще хочется, — засмеялась она, — дочку. Сын сейчас в спальне. Спит. Хотите посмотреть?

— А мы его не разбудим? — испугалась мать.

— Ничего, мы тихонько. Он у нас чудный! Он тут вдруг подошел к отцу и спросил: «А почему пять копеек больше, а десять меньше?» Дмитрий Иванович так и не ответил ничего. Не смог.

Она была весело возбуждена, и возбуждение это передалось моей матери. Надежда Петровна открыла дверь из прихожей и остановилась на пороге. Мы вошли следом. Это была огромная, совершенно пустая, как мне показалось, комната. Было почти темно, синели только окна, тихий свет лампадки освещал несколько красноватых икон и отражался в сияющем паркете. В углах комна-

ты клубилась темнота. Прямо посреди, у левой стены, между голубыми окнами и дверью, откуда мы смотрели, стояла не то кровать, не то что-то еще из красного полированного дерева, с потолка падали каскады чего-то похожего на легкий голубой дым, а под шелковым, тоже голубым одеялом, весь в кружевах, спал розовый курчавый ребенок, положив на щеки длинные вздрагивающие ресницы. Затаив дыхание, я глядел на него, раскрыв рот и вытянув шею. В тишине раздался счастливый смех Надежды Петровны.

Я обернулся и посмотрел на мать. Глаза ее были полны такой боли и отчаяния, что я испугался. Она вдруг заторопилась, шепотом сказала что-то Соловьевой, и мы вышли обратно в прихожую.

— А они идут мне, правда? — спросила ее хозяйка, закрывая за собой дверь. — Только вот кольцо... Как вы думаете, оно не гробит меня, нет? Как вы думаете?

Наш уход был словно побег. Мать отвечала невпопад, не соглашалась, говорила, что она передумала, что это слишком дешево, почти вырвалась, когда Соловьева, уговаривая, взяла ее за локоть. Когда мы возвращались, было совсем темно, шел дождь, так же булькала Унжа где-то в стороне. Я не разбирал дороги, то и дело попадал в крививу, но молчал. Мать шла рядом. До меня доносился шорох кустов, которые она задевала в темноте.

И вдруг я услышал всхлипывания. Я замер, потом, стараясь ступать бесшумно, стал прислушиваться, вглядываясь в темноту. Мы молчали всю дорогу, всю дорогу я напряженно вслушивался до звона в ушах, но так ничего и не услышал больше.

В Юрьевец мы вернулись глубокой ночью, продрогшие под дождем. Стараясь не шуметь, я разделся, вытер ноги и осторожно влез под одеяло, стараясь не разбудить сестру.

Позов... Алексей... Матвей... Я слышал их голоса, слышал, как они говорили, слышал, как они смеялись, слышал, как они плакали. Я слышал, как они говорили, слышал, как они смеялись, слышал, как они плакали.

— Дитя... Я слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила, слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила.

— Дитя... Я слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила, слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила.

— Дитя... Я слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила, слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила.

— Дитя... Я слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила, слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила.

— Дитя... Я слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила, слышал, как ты плакала, слышал, как ты смеялась, слышал, как ты говорила.

*«Без святого и драгоценного,  
унесенного в жизнь из воспоминаний  
детства, не может и жить человек».*

Ф. Достоевский

В «Автобиографии» при поступлении во ВГИК Андрей Тарковский писал в 1954 году: «Я родился 4 апреля 1932 года на Волге, в г. Юрьевце Ивановской области. Отец мой – Тарковский Арсений Александрович, поэт, переводчик, член Союза советских писателей. Инвалид Отечественной войны, орденоносец. Мать – Вишнякова Мария Ивановна – сейчас работает корректором в типографии им. Жданова...»

Однако родился Андрей Арсеньевич не в Юрьевце. В фильме «Зеркало» закадровый голос автора говорит: «...Мне с удивительным постоянством снится один и тот же сон. Дом моего деда, в котором я родился сорок с лишним лет назад, прямо на обеденном столе, покрытом белой крахмаленной скатертью...» Этот деревянный дом, «окруженный соснами», находился в селе Завражье Юрьевецкого района (ныне – Кадынский район Костромской области).

Впрочем, жители Юрьевца тоже имеют основание считать свой городок родиной Андрея Тарковского. Лето 1933 года Тарковские проводят в Юрьевце, куда переехали бабушка Вера Николаевна и Николай Матвеевич Петровы. В 1936–1939 годах Андрей вместе с младшей сестренкой Мариной по несколько месяцев гостит у бабушки. В сентябре 1941-го семья (уже без отца) эвакуируется из Москвы в Юрьевец, где живет в одной из смежных комнаток, занимаемой бабушкой в коммунальной квартире, по улице Энгельса, 8 (ныне – улица Андрея Тарковского, в доме – музей, где проходят Дни Андрея Тарковского). В Юрьевце в 1943 году Андрей заканчивает начальную школу.



*Марина Тарковская*

## ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА

(Главы из книги)

### Начало

В конце марта Арсений и Маруся отправились в рискованное путешествие – выехали из Москвы в село Завражье Юрьевоцкого района. Это было довольно большое село с пятиглавой церковью (в которой позже крестили Андрея). Стояло оно на левом берегу Волги недалеко от впадения в нее реки Нёмды. Там жили мамыны мать и отчим – Вера Николаевна и Николай Матвеевич Петровы. Отчим был врачом и работал в местной больнице, а квартиру снимали в доме Кудряшовых на втором этаже. В Иваново-Вознесенской области Петровы оказались в самом начале двадцатых годов. Они уехали из Москвы по двум причинам – чтобы не умереть с голоду и чтобы Николай Матвеевич мог удовлетворять свою неукротимую страсть к охоте. Выбрали волжские места, потому что он родился в городе Шуе, тоже Ивановской области. Жили Петровы при больницах – цели купить собственный дом как-то не ставили – в Кинешме, в небольшом городке Юрьевце, в Завражье. А после Завражья – в поселке с загадочным названием «Красный Профинтерн». «На Профинтерне», – говорила бабушка. Мы много раз спрашивали, что такое «Профинтерн». Мама и бабушка говорили что-то про профсоюзный интернационал, что вызывало еще большее недоумение в наших детских умах, потому что никак эти слова не увязывались с тихим заволжским поселком, с широкими волжскими плесами, с запахом мокрой древесины, воды и гудками пароходов. А Юрьевец оказался единственным приволжским городом, построившим дамбу и сохранившим таким образом свой облик: центральная улица, идущая параллельно Волге, и взбирающиеся на горы перпендикулярные улочки и переулки.

В одном из писем мама написала о своем «положении», и из Завражья посыпались письма с просьбами и мольбами (бабушке был присущ высокий стиль) рожать у Николая Матвеевича в больнице.

А путь неблизкий и трудный. Сначала – поездом до города Кинешмы, тогда поезда на паровозной тяге шли туда около суток.

В Кинешме на привокзальной площади стояли ящики с лошадьми, ждали пассажиров (лошади ели овес из мешков, надетых на морды, рядом ходили куры, прыгали воробьи – тоже питались). Родители сговорились с одним из ямщиков и поехали – километров тридцать на лошадях, в розвальнях. Дорога шла вдоль



Волги, потом по замерзшей реке. Волга должна была того гляди вскрыться, и они боялись, что не успеют добраться до места.

Вот мамино письмо, которое так и не было отправлено. Адресовано оно в Москву, папиной сестре, с которой мама очень дружила. *«29 марта. Милая Лёничка! Доехали мы хорошо, то есть я не родила. Ехали долго, с трёх дня до пяти ночи, три часа кормили на постоялом дворе лошадей, а сами ходили и мучались, скоро ли она накормится. Дорога разбита ужасно...»* Предполагалось, что мама родит числа двадцатого, но дорогой ее сильно растрясло, и роды начались раньше срока. Маму не успели отвезти в больницу. Рожать пришлось дома, на обеденном столе. Наша милая бестолковая бабушка так разволновалась, что забыла, где находится дом акушерки, и они с папой с трудом ее разыскали. Принимали роды Николай Матвеевич и акушерка Анфиса Осиповна Маклашина. После того как все завершилось, отчим сказал маме: «Ну, Маруська, следующего рожай где хочешь! Слишком уж нервно – принимать у своих».

Сохранилась тетрадь «Дрилкин<sup>1</sup> дневник», который родители начали вести с первых дней появления Андрея на свет. Это листы бумаги, сложенные вдвое и прошитые нитками. Писали родители по очереди – у кого было время и силы. Иногда записи идут подряд, иногда несколько дней пропущено. В дневнике подробно рассказано о первых трех месяцах Андреевой жизни.

Дневник открывается папиной записью от 7 апреля 1932 года: *«В Завражье в ночь на 4 апреля, с воскресенья на понедельник, родился сын... Пятого был зарегистрирован, назван Андреем и получил "паспорт"»*.

*Глаза темные, серовато-голубые, синевато-серые, серовато-зеленые, узкие; похож на татарчонка и на рысь. Смотрит сердито. Нос вроде моего, но понять трудно, в капочках. Рот красивый, хороший...»*

Папа со свойственным ему нетерпением сразу же взял справку о рождении сына. Написана она рукой акушерки (орфография, как в оригинале).

#### «УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Гражданка гор. Москвы Мария Ивановна Тарковская 1932 года Апреля 4-го разрешилась живым сыном.  
1932 года, 4. IV.

Акушерка Завражной сов-больницы  
А. Маклашина.  
Врач Н. Петров».

А на следующий день папа поспешил в Завражский сельсовет (он никак не хотел ждать до Москвы) и на основе этого удостоверения получил на Андрея свидетельство о рождении. Бланк отпечатан на простой бумаге, за годы «Свидетельство о рождении» пожелтело, обветшало, оно тщательно подклеено мамой.

<sup>1</sup> Дрил, Мадрил и Гамадрил – персонажи поэмы Н. Подгоричани.



Свидетельство о рождении Андрея Тарковского

Во время войны в Юрьевец, где мы жили в эвакуации, Андрею пришло письмо. От папы, с фронта. На стороне, где пишется адрес, вверху напечатано: «Смерть немецким оккупантам!» Имеется штамп: «Просмотрено военной цензурой». На обратной стороне – текст, написанный химическим карандашом папиным красивым, аккуратным почерком:

«4. IV. 1943. Дорогой, родной мой Андрюша, поздравляю тебя с днем рождения. Я болен и лежу в госпитале, скоро уж меня выпишут. Я так хорошо помню, как ты родился, мой милый. Мы с мамой ехали до Кинешмы поездом, а оттуда на лошадях до Завражья. Волга должна была вот-вот тронуться. Мы ночевали на постоялом дворе, и я очень беспокоился за мамочку.

Потом родился ты, и я тебя увидел, а потом вышел и был один, а кругом трещало и шумело: шел лед на Нёмде. Вечерело, и небо было совсем чистое, и я увидел первую звезду. А издалека была слышна гармошка, и это было одиннадцать лет назад...»

Вот так родился Андрей, и вот почему у него в графе «Место рождения» стояло «Село Завражье Ивановской области».

Вернемся в 1932 год. Посылают телеграммы в Москву. Бабушка Вера поздравляет папину мать, Марию Даниловну, с рождением внука; она впервые подписывается своим новым званием – «бабуся». Папа сообщает своему другу литератору Льву Горнунгу: «Четвертого родился сын, благополучно. Тарковский». А вот – ответная телеграмма. Она еще лаконичнее, чтобы не расходовать зря слова, да и деньги, в которых у Льва Владимировича всегда была нуж-



Мария Ивановна Тарковская с Андрюшей под вязом в Юрьевце. 1933 г.

иногда... Шумит река, «Помню дедов, в те жист, ручьи...



Арсений и Андрей Тарковские

да: «Поздравляем всех. Горнунг». Эмоции были позже, ближе к осени, когда Горнунг самолично приехал в Завражье.

Итак, в доме маленький ребенок. Нарушена размеренная, спокойная жизнь Петровых. Хотя какая жизнь могла быть у провинциального врача? Николай Матвеевич был специалистом по «всем болезням». Утром он работал в стационаре, потом вел прием в поликлиническом отделении, на стареньком велосипеде объезжал больных на дому. По ночам часто раздавался стук в окно, приезжали за врачом из окрестных деревень. Уставал Николай Матвеевич и нуждался в отдыхе.

Андрюшка был беспокойным. Вот что пишет мама: «8 апреля, пятница, седьмой час вечера. Рыська (так прозвали малыша. — М.Т.) спит. И все спят после обеда. Я ночью не спала совсем... Вой стоял дикий. Он вообще имеет обыкновение днем спать, как пьяная кошка, а ночью часа два бодрствовать. Если бы не дедушка, то наплевать бы...

12 апреля, около 10 часов вечера. Ночь была кошмарная. Орет, и ничего нельзя сделать...»

Бедные Петровы были не в состоянии больше терпеть, и беспокойное семейство решили переселить в мезонин больничного флигеля, в две небольшие комнаты с балкончиком; внизу помещалась лаборатория. Было это недалеко — несколько минут ходьбы. Папа привел жилье в порядок, побелил потолок и стены...



Вообще, судя по дневнику, отец принимает деятельное участие в заботах о сыне: стирает бесконечные пеленки, укачивает Дрилку (еще одно прозвище. — М.Т.), сочиняя при этом шуточные песенки. Вроде этой:

— Расскажите, как живет  
Ваш любимый, милый кот.  
— Рано утром он встает  
И, как водится, орет.  
Вот, вот как живет  
Наш любимый, милый кот...

В дневнике появляется хвалебная запись мамы: «...Папа Ася — замечательно хороший папа и очень хорошая няня».

Когда я читаю этот дневник, меня удивляет вот что: как мама, измученная бессонными ночами, кормлением, купанием и прочими заботами о ребенке, находила возможность вести подробные записи. Я объясняю это не только любовью к новорожденному, но и потребностью изложить на бумаге происходящее. Эти безыскусные записки заменяли маме творчество. Стихи мама писала раньше, в студенческие годы. Она их уничтожила, считая недостойными существования. Но дневники вела. Правда, не постоянно, но тем не менее отдельные куски жизни оказались записанными...

Папа легко загорался, был нетерпелив, спешил немедленно и до конца сделать то, что в данный момент его увлекало. Был он прекрасный рукодельник (Андрей унаследовал эту его черту) — мастерил, переплетал книги, чинил обувь, артистически штопал носки.

Он хорошо рисовал, вырезал из бумаги сложнейшие «китайские» фигуры. Мог ночь напролет ремонтировать пишущую машинку, разобрав ее на миллион частей. Мог читать книги или писать стихи и днем и ночью, не замечая ничего вокруг. Но вовремя начать переводческую работу, нелюбимую, но необходимую для заработка, и делать ее систематически, изо дня в день, чтобы потом спокойно сдать, не мог.

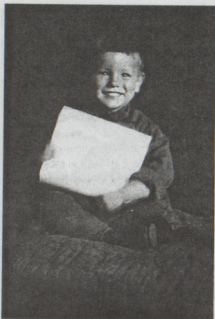
Вот так и с дневником. Пережилась первая радость после рождения сына, начались ежедневные заботы, накапливалась усталость. Плюс — постоянная внутренняя поэтическая работа. Поэтому большая часть «Андреевой хроники» написана маминым почерком.

*«11 апреля, понедельник, 2 часа дня. Замечательный день. Хорошо, что Дрилка живет первые дни в такую замечательную погоду. Днем стал "гулять" еще больше...»*

А вот пишет папа: «Киска улыбается во сне... Сегодня ему исполнилось 10 дней. Папа встает по ночам смотреть, не закрыт ли у него нос одеялом. Мы очень любим Дрила».

Бурная весна 1932 года... Она тоже «героиня» этих записок. Почти каждый день отмечается в дневнике состояние природы: «Погода стоит очень хорошая, на небе луна очень ясная, большие одной четверти. Барометр стоит очень высоко. Шумят речки», «Погода дивная, все тает, ручьи журчат,





Андрюша с книгой Корнея Чуковского

*всюду скворцы», «...Всю ночь шел дождь. Сейчас юго-юго-восточный ветер, очень тепло и пасмурно. Несколько дней идет Волга...», «Сегодня нарвали черемухи – за кузницей...»*

В больничном мезонине живет «выселенная» семья. Трудно с ребенком, родители устают, не высыпаются. Колодец во дворе, воду греют внизу на дровяной плите. Хорошо еще, что не надо думать о еде. Обедать ходят к бабушке (у бабушки есть корова, знаменитая – конечно, только в нашей семье – Голубка, ярославской породы норовистая корова, о которой мы в детстве столько слышали).

*«...Я совсем не выпалась, Ася тоже, он заснул в 11.30, а встал вместе со мной в пять. Вчера папа Ася сказал, что Дрил пьет змеиное молоко».*

Что это, случайное раздражение? А может быть, накопление этого раздражения и приведет к концу их совместную жизнь? Нет, до разрыва пока далеко, снова мир, и у мамы хорошее настроение: *«8 мая, 8 часов утра... Погода чудесная, звонят к обеду, на балконе солнышко и птички. Насыпала хлебушка Дрилкиным воробьям. Сейчас вымоюсь и открою балкон, чтобы Дрилка подышал...»* Какой же воздух вливался в распахнутую балконную дверь! С одной стороны – Волга, рядом Нёмда, кругом леса, никаких заводов. Чистая, не испорченная цивилизацией природа. Правда, мама, когда впервые попала в Завражье в 1930 году, была несколько разочарована. *«Здесь гораздо хуже, чем я думала, – писала она в письме к другу, приглашая его приехать. – Но все-таки ничего. Волга в семи верстах, и против Юрьевца купаться нельзя. Около нас река – очень песчаная и мелкая. По ней плывут в Волгу “дрова”. Большой лес в пяти верстах. Единственное, что хорошо, – большие горизонты...»* Мама и природа... Простота и безыскусность единили ее с лесом, с рекой, с полем. Природа была для нее не фоном, а естественной средой. *«Мы (то есть мама с Андрюшей на руках. Коляски еще не было. – М.Т.) ходили в лес. Сидели на пенке на Дрилкиной поляне, потом по вновь открытой Муравьиной дорожке вошли в Сморчковую рощу и набрали массу сморчков. Пойдем туда завтра с папой Асей, а то с Дрилом трудно нагибаться за сморчками...»*

А эти записи сделаны уже после отъезда папы. *«21 июня, вторник, 10 вечера... Понесла Андрюшку гулять. Гуляли час. Нашли на опушке двух гусениц, кажется, крапивниц». «Вчера отдохнула – Дрила устроила в саду под липой в ящике из-под картошки, и он там проспал три часа». «Ходили в елочки*

за церковь, а потом спустились на Попов луг... Ходили на Нёмду. Он лежал у меня на трех поленьях, в конверте, а я купалась. Рожь за церковью в мой рост, трава до колен. Цветов так много, что вся гора пестрая. Есть уже ночные фиалки. Много-много есть чего написать, но папа Ася не едет и не берет тетрадки для дневника. Окукливаются гусеницы... »

Это было их общим — и мамы и папы — любовь к природе и внимание ко всем ее проявлениям. Правда, папа больше любил юг: он родился и вырос на Украине, в теперешнем Кировограде. Он всегда тосковал от затянувшихся северных зим, ему всегда не хватало тепла и солнца.

Наш папа... Каким он был тогда, в молодости? Разным — веселым, остроумным и задумчивым, пасмурным. Мог быть заботливым, нежным и равнодушно-остраненным. Чудесный юмор сопровождал его всю жизнь. Вот письмо в Москву. Первая страничка написана по спирали, в уголке пометка: «Читать сие надо, начиная с центра».

Вместо имени адресата — «Лев» — нарисован лев-зверь. (Когда я читала это «спиральное» письмо, у меня действительно закружилась голова.) Итак, письмо Арсения Тарковского ко Льву Горнунгу:

«26 апреля 1932 года. Дорогой многоуважаемый Лев! Вы напрасно думаете, что Маруся стирает и сушит Дрилово белье без всякого с моей стороны участия. Ваш покорный слуга также смывает с пеленок нечто и вешает сии пеленки на веревочки. Это отнимает не только время, но и жизненные силы. Вам, не имевшему (насколько мне известно) львят, очень трудно себе представить, сколько сын мой возлюбленный вызывает любви и сколько требует времени. Дабы громкий и сильный его голос не нарушал покоя предающегося по ночам сну Николая Матвеевича, мы в полном составе переехали на мезонин в больнице (как сказал Пастернак: «...да так, что даже антресоль... от удивления (?) трясло»). Читая это письмо, Вы почувствуете, вероятно, то же головокружение, какое чувствую я, когда вижу разлившуюся Нёмду, слышу гудки пароходов и птичий гвалт. Нёмда все же разлилась несильно, только мост возле соловьевского дома (если помните) залила, хотя вода, вероятно, еще увеличится. У Вас под окнами, должно быть, уже настоящая Венеция. Если будете фотографировать наводнение — пришлите по наводнению нам с Марусей. Спасибо Вам (кстати, о фотографии) за Вячеслава Иванова, который доставляет мне большое удовольствие, напоминая не только о себе, но и о Вас. Как Вы живете, милый Левушка? Неужели сидите в Москве до середины лета? Прочли сей лабиринт? Это я Вас мучил за то, что Вы не хотели мне писать, за то, что считается письмами. Очень нехорошо. Конечно, я виноват, что не писал Вам так долго, но это не от плохого характера, или лени, или нелюбви к Вам, а потому, что, как Вы поймете, сын отнимает массу внимания, массу времени.

Приезжайте, Лев, в Завражье. Дама, чье полное имя я из скромности не открываю, говорит, что снова бы с удовольствием поселила Вас у себя, не только на сеновале, но даже в комнате. Приезжайте, Лев. Будем рыбу ловить,



Семья Тарковских

ходить босиком и кормить собой пчел!

Читаю я только Пушкина, Тютчева и Державина, жалею, что не взял гржебинского Баратынского. Кроме этого, еще читаю небезызвестного Всеволода Соловьева. Этот последний автор — сущий дурак. Сей Соловьев, который дурак и бездарен и еще пошляк, принадлежит даме, которая готова пустить Вас не только на сеновал, а даже в комнату. Приезжайте, Лев. Будем костры жечь, печь картошку в золе. Ладно? Жду письма о Вашем (возможен ли?) приезде, обо всем, что в Москве. Приехал ли Верховский? Целую Вас, не сердитесь на меня ни за что. Ваш Арсений».

Это письмо нуждается в некоторых пояснениях. «Соловьевский дом» — дом

врача Соловьева, который работал в местной больнице с Николаем Матвеевичем. Если вспомнить «Зеркало», то там говорится об этом враче в сцене продажи серег. В фильме мать с сыном подходят к этому дому уже в 1942 году.

А.В. Горнунг жил в Москве на Садовнической набережной. Окна его комнаты выходили на обводной канал. Отсюда упоминание о Венеции. «Гржебинский Баратынский» — Баратынский издательства Гржебина. Всеволод Соловьев — писатель, автор серии романов о семье Горбатовых. Юрий Никандрович Верховский — поэт, переводчик, литературовед, имя которого сейчас незаслуженно забыто. Мы с Андреем видели его в конце войны в Переделкине — огромного бородатого старика.

26 апреля написано это письмо — дружеское, шутовское. Из него мы узнаем о литературных пристрастиях молодого Арсения Тарковского. Кажется, что жизнь хороша, рядом любимая жена, сын. А оказывается, рождение сына обострило тоску по умершему отцу, похороненному в их родном Елисаветграде. Одновременно — веселые письма, шутовские песенки и — скорбное, полное любви стихотворение памяти отца.

Удивительна и непостижима жизнь поэта. Он вынужденно живет как бы в двух измерениях — в реальном и в «потустороннем», поэтическом. И все драмы, а подчас и трагедии происходят от этой раздвоенности, от невозможности соединить эти два мира, от невозможности остаться в одном из этих миров. Погружение в творчество желанно, необходимо, животворно. Драматичен и болезнен выход из творческого состояния, из «небытия» в жизнь реальную, требующую своего — забот, деятельности, общения с окружающими. Думаю, это тоже сыграло свою роль в том, что через четыре года после рождения

Андрея и через два года после моего рождения распалась наша семья.

...А пока — мама: «5 мая, четверг, днем. Вчера Дрилке исполнился месяц. Он очень изменился на личико, на рыську больше не похож и становится все больше похож на папу Асю. Дедушка говорит, что от меня он не унаследовал ничего — все отцовское...»

Второго июня папа уехал в Москву улаживать свои рабочие дела — надо было зарабатывать на жизнь. В Завражье он больше приехать не сможет (родители увидятся осенью в Москве), бумаги не привезет. Поэтому «Дрилкин дневник» обрывается. Последняя запись сделана в нем мамой 21 июня 1932 года.

## Мадам Эжени. Перепись населения

Мама после ухода папы стала устраиваться на работу, а мы, тогда совсем маленькие — Андрею четыре с половиной года, а мне — два, «связывали ее по рукам и ногам». Так говорила бабушка. Она недавно овдовела — в тридцать шестом похоронила своего мужа, врача Николая Матвеевича Петрова. Теперь она захотела помочь и забрать нас к себе в Юрьевец на несколько месяцев.

Неподалеку от нас в Москве жила одна мамина знакомая француженка. Была она одинока, и бабушка уговорила ее поехать в Юрьевец, чтобы помогать ей там в воспитании детей. А заодно учить их, то есть нас, французскому языку. Договорились, что за это мадам Эжени будет получать деньги и жить на всем готовом.

И вот мы у бабушки, в старинном, почти сплошь деревянном городке на Волге, в котором после революции ничего не изменилось, разве что названия улиц. Мы жили на улице Энгельса в доме № 8.<sup>1</sup> Говорили, что этот просторный дом принадлежал многодетному сапожнику, которого переселили вместе с чадами и домочадцами в его же сарай во дворе. А дом сделали коммунальным. Комендантом назначили партийную жиличку Харламову, маленькую стриженую тетку с бегающими злыми глазами, всегда находящуюся на грани истерики.

Бабушка занимала две смежные комнаты, а ее домашняя работница Аннушка жила за занавеской у окна в конце общего коридора. Любимицу Аннушки, корову Голубку, недавно продали — уж больно дорогое сено, — и Аннушка ходила за молоком на соседнюю улицу, презрительно поджав губы от стыда за наше бескоровье.

Из того пребывания в Юрьевце я хорошо запомнила крапиву, которую мадам Эжени клала нам в постели, чтобы мы не вертелись и поскорее засыпали. И еще дядьку в валенках, который приходил нас переписывать. Как раз в январе 1939 года проводилась та первая советская перепись населения, плачевные

<sup>1</sup> Теперь эта улица носит имя Андрея Тарковского, в доме открыт музей.





*Андрей и Марина.*

Снимок сделан в юрьевецком фототелье  
летом 1938 года

результаты которой стали известны только сейчас. О предстоящей переписи много и хвастливо писалось в газетах. Велись разговоры и среди населения. Говорили, что будут выявлять верующих – среди четырнадцати вопросов один был о религиозной принадлежности. Бабушка и Анна, плотно закрыв дверь в коридор, долго спорили, как быть. Напишешь «верующая» – могут посадить, напишешь «неверующая» – согрешишь, предашь веру, да и сожжешь к тому же. Интересно, что они все-таки написали? Теперь уже не у кого спросить...

В тот день, 17 января, был сильный мороз, и мы сидели дома. И вдруг к нам пришел переписчик. Я была очень маленькая и потому хорошо разглядела его аккуратно подшитые, с капельками воды от растаявшего снега валенки и стоящий на полу подле них черный дерматиновый портфель. Переписчик стал опрашивать всех по очереди. Дошла очередь и до Андрея. Дядь-

ка перечислял вопросы, а Андрей и бабушка отвечали.

Так добрались до пункта о грамотности. «Я грамотный», – сказал Андрей. Переписчик не поверил и засмеялся. «Я грамотный», – повторил Андрей, и голос его задрожал от обиды.

Тут вмешалась бабушка и подтвердила, что мальчик действительно умеет читать и писать «по письменному». Тогда переписчик, все еще не веря, взял портфель, достал из него газету «Правда» и сказал: «А ну-ка, читай!» Андрей прочел название передовицы и несколько абзацев. Пораженный переписчик, привыкший ставить прочерк в этой графе опросного листа, написал про Андрея – «грамотный». А вскоре в местной газете было опубликовано сообщение о том, что в результате переписи выявлен мальчик Андриюша Тарковский, который умеет бегло читать.

Что же касается французского языка, то мы его так и не выучили. Вся эта затея с бонной-француженкой оказалась еще одной бабушкиной утопией. Мадам Эжени с удовольствием вела с бабушкой пространные беседы по-русски, а бабушка старалась блеснуть перед ней кулинарным искусством. Прожив так



несколько месяцев, мадам уехала в Москву. Больше мы никогда с ней не встречались и не узнали ни ее фамилии, ни истории ее жизни. Впрочем, случайно мне стала известна ее последняя страница. Спустя лет пятнадцать я шла с мамой по Большой Пионерской улице<sup>2</sup>. Мама кивнула на двухэтажный, с башенкой, дом и сказала тем своим тоном, который я назвала бы грустно-повествовательным: «А вот здесь жила мадам Эжени. Помнишь ее?» – «А где она сейчас?» – спросила я. Мама помолчала немного, а потом ответила: «Ее выслали из Москвы в начале войны. Тогда многих выслали... Только не болтай об этом!»

Вот так случилось, что я совсем не помню нашей довоенной бонны. Сохранились лишь смутные ощущения, какие-то обрывки картин – высохшая и уже не страшная крапива в моей детской кровати, лужайка возле Симоновской церкви, давно снесенный дом в Замоскворечье и это изящное французское имя – мадам Эжени.

## Кусок торта

Юрвец довоенный... Чужой человек – переписчик населения, его большие валенки, покрытые каплями растаявшего снега, черный портфель. Бабушкины коленки, разбитые о булыжную мостовую, когда она шла к знакомым покупать для нас клубнику. Бывший актер с княжеской фамилией Телепнев – наркоман с лицом провинциального трагика. А еще сделанная в ателье фотография. Мы сидим на большом старинном кресле, явно экспропрированном у какого-то местного богача. Такие ухоженные и благопристойные дети, какими уже никогда больше не будем.

Юрвец военный... Комнатка в два окна в доме 8 на улице Энгельса. Дерево напротив, плещущее ветвями во время летней грозы. Кафельная лежанка, на которой мы отогревались в морозы. Наш самолет, севший на лед Волги. Детская библиотека с ее особым запахом чернил и зачитанных книжек. Ивановская гора, высокие санки-карыетки. Комья смерзшегося конского навоза и клочки оброненного с розвальней сена, в котором я так любила узнавать летние травы и цветы.

В Юрвце военном мы не снимались. А если бы такое произошло, то на фотографии отобразились бы наши заострившиеся скулы и блестящие глаза. Не забывается чувство голода. Но еще труднее забыть историю с куском торта «наполеон».

Мама не могла найти работу, и чуждая Людмила Александровна Бобылькова, директор «флягинской» начальной школы, пригласила ее быть кем-то вроде художественного руководителя. Мама готовила с детьми самодеятельность к праздникам – к Первому мая, к дню Седьмого ноября и к Новому году.

<sup>2</sup> До революции – Большая Дворянская улица.



К новогоднему утренику начали готовиться в декабре сорок второго года. Андреев класс должен был строить «пирамиду», и меня, как самую маленькую и легонькую, Андрей заставил стоять наверху, на чьих-то колеблющихся плечах. Мама разучивала с девочками «Танец матрешек», а учительница музыки — эвакуированная ленинградка по прозвищу «Три полена» (однажды она была уличена в хищении дров) — репетировала с Андреем «Веселый ветер» Дунаевского.

Но гвоздем новогоднего утреника должно было стать праздничное чаепитие. Деревенские дети, а их среди школьников было немало, принесли масло, яйца, муку, и учительницы сделали слоеный торт «наполеон» по бессмертному французскому рецепту. Испекли коржи, смазали их кремом и оставили на ночь пропитываться.

После праздника учителя разделили между собой оставшиеся куски торта. Мама принесла домой два куска, один из которых дала нам. Оставался еще один, про который мама сказала: «Не ешьте!»

Кусок торта лежал на тарелке в резном бабушкином буфете. Стоило встать на табуретку и открыть застекленную дверцу, как нас обдавал сдобный запах «наполеона», от которого кружилась голова и замирало дыхание.

Мы крутились возле буфета, мы поминутно открывали его, чтобы взглянуть на этот треугольный слоистый кусок. Наконец Андрей не выдержал. «Давай съедим, — сказал он. — Все равно мама разрешит, когда придет».

Мы поделили кусок пополам, зная, что мама и бабушка наверняка откажутся от своей доли в нашу пользу.

Вскоре пришла мама. Сделав кое-какие домашние дела, она сказала: «Надо сходить к Надежде Ивановне. Она заболела и не была на утренике. Я взяла ее кусок торта. Сейчас отнесу».

При этих словах она открыла буфет и увидела пустую тарелку, на которой и следа от торта не осталось.

«Мама, мы съели торт», — в ужасе пробормотал Андрей. Я заплакала. И наша мама, у которой не было ни муки, ни масла для нового «наполеона», сказала: «Ладно, только не ревите. Это я виновата — не сказала, что торт чужой. Придумаем что-нибудь вместо него для Надежды Ивановны».

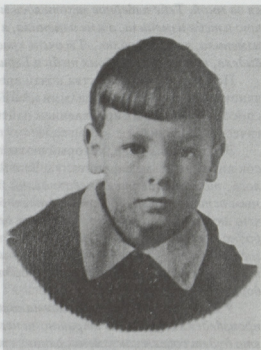
## Начальная школа. Веснушки и любовь

Школа № 554, в которой учился Андрей начиная с 1939 года, с перерывами на войну и на болезнь, находилась в Стремянном переулке. Была она стандартной — четырехэтажной, построена из красного кирпича в начале тридцатых годов и стояла в глубине переулочка, окруженная большим двором и невысокими старыми домами. (Здание школы, хотя и перестроенное слегка, сохранилось, в нем и сейчас занимаются дети.)

В начальной школе Андрюша учился хорошо. Ребятишки в классе были по большей части из рабочих семей – район наш был заводской. И Андрей выделялся на общем фоне, он пришел в школу, уже умея читать и писать «по письменному», тогда как большинство первоклассников только узнали буквы.

И в первом и во втором классах он был образцовым учеником-отличником, аккуратно подстриженным, с белым воротником. Мама сохранила его тетради, заполненные красивым, старательным почерком.

Третий и четвертый классы пришлось на войну и на эвакуацию. И в начальной юрьеvecкой школе Андрей учился неплохо, хотя уже не был таким старательным, как раньше, «выезжал» за счет общего развития и начитанности. Там он считался «первым парнем», покоря сердца одноклассниц, хотя и был, по воспоминанию одной из них, «небольшого роста и с веснушками».



Андрей Тарковский – ученик юрьеvecкой начальной школы

Веснушки были бичом нашего Андрея. Каждую весну они высыпали на его нос, и он считал, что они очень вредят его красоте. В письме от 24 февраля 1943 года мама написала папе: «...А сейчас, Асик, сидели наши кошки у фитилька, Маришка решала:  $20:5=4$ ;  $4 \times 5=20$ , а Андрей смотрел у нее из-под локтя. Вот она подняла лицо и захохала: “Андрюшка, какой у тебя рот красный, ой, какой красный!” ... Затем Марина нашла, что рот у него красивый, а минут через пять он ее попросил посмотреть, есть ли у него веснушки. Значит, он все эти пять минут взвешивал свои плюсы и минусы, веснушки – крест его жизни. Марина утешила его, что сейчас не очень видны, а летом будут “и тут, и тут, везде”. “Ну, уж летом я буду в Москве” – что это за скачок мысли? – видимо, ему надо, чтобы не было веснушек...»

Да, мама была права, дело обстояло именно так. Но, несмотря на веснушки, девочки из класса влюблялись в него и засыпали его записками. Например, такого рода (орфография и пунктуация автора записки): «Милый Андрей! Ты на меня не обижайся. Ты думаешь, что я тебя изменила, а на самом деле это не правда. Я тебя не изменила и не буду. Ты скорее меня изменил потому, что ты сначала знал за И.К., а потом она уехала и ты стал гнаться за Т.Г., потом ты меня спросил что за кем я гонюсь я сказала, что за тобой и ты стал гнать-

ся за мной. Тебе наверное захотелось меня изменить. Из-за того ты и сказал, что я тебя изменила, а я не изменила, я тебя люблю. Милый Андрей, я тебя не изменила, я тебя люблю... Ты очень красивый, я таких красивых еще никогда не видела, только вижу двоих тебя и Берштейна. Я тебя очень люблю».

Подобные свидетельства почти зрелых чувств одиннадцатилетних юрьевчанок мама находила «пошлыми», они приводили ее в ужас. Но я думаю, что способа борьбы с их проявлением найти было невозможно ни в одном педагогическом учебнике.

Это понимал папа, который в ответ на мамины сетования по поводу записок писал в письме с фронта: «...Что делать с этим — я не знаю. Раз уж началось, то остановить — невозможно, даже если ты будешь действовать самым осторожным образом... Может быть, было бы хорошо объяснить ему, что любовь не только то, что у них ребята имеют в виду, а чувство и благородное, и ведущее к самоотверженным поступкам, и к "немому восхищению", заставляющее становиться лучше — и прочее... Раз у него это уже началось, то надо устремить его страсти-мордасти по хорошему пути, а задерживать водопад — дело пустое».

У меня волосы зашевелились на голове, когда я прочел твою копию с этого произведения, уж очень страшно за него стало и обидно как-то. Я понял, что это будет совсем как у меня, ранние страсти и мучения. Боюсь только, что у меня они были романтичнее, чем будут у него, а безудержность и очертя-голову-бросание такое же. И так как я думаю о своем опыте, то знаю, что важно воспитать в Андрюшке умение считаться с окружающими, бросаясь в любовь, и полагать, что не все дозволено. Постарайся внушить ему, что нельзя доставлять людям страдания ради своих любвей, — к несчастью, я понял это слишком поздно. Объясни ему, что хуже всего позднее сожаление о том, что кому-то сделал больно. Если он не эгоист в самой худшей форме, то он это должен понять.

А что делать теперь — кроме этого — не знаю, может быть, потому, что не представляю себе форм нынешнего флирта в Юрьевце среди этих — не моих романтических времен — ребят. Не надо все-таки пугаться Андрюшкиных страстей и делать так, что все это станет соблазнительным запретным плодом.

Скоро и Мышь, должно быть, начнет получать любовные письма, и тогда мое сердце окончательно сожмется от боли».

Наверное, и мамино сердце сжималось от боли, когда она читала папины слова о его поздних сожалениях, явно к ней обращенные.

А Андрюшка, которому было одиннадцать лет, когда он уезжал из Юрьевца, скоро забыл юрьевские страсти. В конце войны обучение стало раздельным, так что в Москве роковых соблазнительниц за партами в одном классе с ним не оказалось.

## Андрей Тарковский

### ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА

Сквозь пыль дорог, через туманы пашен,  
 Превозмогая плен падений вкось,  
 Горячим шепотом пронизанное насквозь  
 Пространство детства! Как сухая ость,  
 Качнувшая меня наклоном башен.  
 Белою стеной и духотой заквашен,  
 Круженьем города — младенческий испуг,  
 Дрожаньем кружева тропинок. Залевкашен,  
 Как под румянцем скрывшийся недуг,  
 Брак волокна древесного. Украшен  
 Смертельной бледностью воспоминаний.  
 Страшен  
 Бесстрашный вниз прыжок с подгнившей крыши вдруг...

14 сентября 1965 г., Владимир

### ОТРЫВОК ИЗ СЦЕНАРИЯ ФИЛЬМА «ЗЕРКАЛО»<sup>1</sup>

«Симоновская церковь в Юрьевце стояла посреди выжженного на солнце пологого холма, окруженного древними липами и березами. Я помню, как давно, еще до войны, ломали ее купола. Мы с сестрой стояли в редкой толпе женщин, которые с затаенным страхом глядели вверх. Нас сопровождала наша бонна мадам Эжени, толстая, неуклюжая лионка со злыми глазами навывкате и короткой шеей. В руках она держала фунтик, свернутый из бумаги, в котором шевелились коричневые блестящие муравьи. Нам было обещано, что в случае непослушания содержимое бумажного фунтика будет вытряхнуто нам за шиворот.

<sup>1</sup> Литературно-художественный альманах «Киносценарии». 1988, № 2.





По крыше церкви, крикливо переговариваясь, деловито поднималось несколько мужиков. Один из них во- лочил за собой длинный канат. Добравшись до конька крыши, они окружили один из куполов и стали набра- сывать канат на его узорный кирпичный барабан. Я по- дошел ближе и встал за корявым березовым стволом. В промежуток между людьми, стоящими вокруг, я на мгновение увидел встревоженное лицо боины.

&lt;...&gt;

Я услышал, как где-то рядом заплакала женщина. Я оглянулся, но так и не нашел плачущую среди толпы. Голос ее совпал с криком старика в зеленом френче, который, суетливо размахивая руками, шел вдоль цер- ковной стены и отдавал приказание.

Рабочие, стоявшие внизу, поймали брошенные с крыши концы каната и привязали их к основанию березы, у которой я стоял. Подбежавший старик оттол- кнул меня в сторону. Между канатами просунули вагу и стали крутить ее наподобие пропеллера до упора.

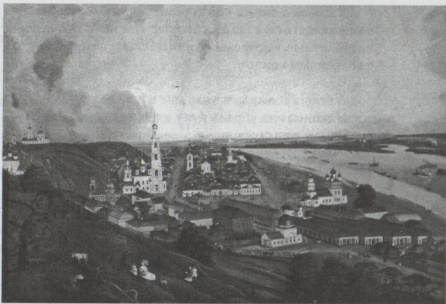
&lt;...&gt;

Вдруг, словно взвившаяся змея, канат стремитель- но свинтился вторым узлом. Эта вдвойне скрученная спираль стала медленно и напряженно удлиняться, и в этот момент я на секунду поднял голову и увидел высо- кий белый купол и над ним крест, еще неподвижный. Над церковной колокольней со звонкой колготней носились встревоженные галки.

Один из мужиков у березы крикнул что-то и всем телом упал на упругий канат. Его примеру последовали другие. Они набросились на звенящий канат и начали в такт раскачиваться на нем до тех пор, пока основание купола не стало поддаваться. Кладка начала крошиться, из нее вываливались кирпичи, и крест стал медленно крениться в сторону.

&lt;...&gt;

И вот сначала все сооружение рухнуло вниз на же- лезную крышу, потом с оглушительным грохотом на зем- лю посыпались обломки кирпича, поднимая клубы дыма, и, не успев закрыть глаза, я, ослепленный, уже почти ничего не видел, а только, кашляя, задыхаясь, вытирал ладонью слезы. Снова что-то обрушилось и, ломая длин- ные, до самой земли ветви берез, со скрежетом удари- лось о землю, подняв известковую пыль, которую



*Так выглядел Юрьевец в первой половине XIX века.  
Таким видел его и маленький Андруша Тарковский*

порывистый волжский ветер стремительным облаком  
уносил между верхушками деревьев.

<...>

Меня отвели в прохладную тень, на противополож-  
ную сторону собора. Я лежал с закрытыми глазами на  
траве и слышал, как мадам Эжени кричала кому-то  
сквозь грохот разрушаемого здания:

– Простунья, пожалуйста! Простунья!

Ее никто не понимал, и она продолжала настаивать,  
требовать от кого-то, кого я не мог видеть, чтобы при-  
несли простыню, потому что она не могла допустить,  
чтобы я лежал на голой земле. Потом меня уложили на  
какой-то брезент, принесли кружку с водой, и мадам  
Эжени, приоткрыв неловкими пальцами мои веки, стала  
лить мне в глаза воду. Я вырвался.

– Сет ассе! Уи, мон шери? Сет ассе!<sup>2</sup> – сказала она.

По другую сторону церкви раздавались злые крик-  
ливые голоса, все так же глухо падали камни, что-то гре-  
мело и сыпалось с нарастающим шумом.

<sup>2</sup> Вот и все! Правда ведь, мой дорогой? Вот и все! (франц.).



Я слышал также со стороны дороги мычание приближающегося стада, которое гнали на полдни, и пистолетные выстрелы длинных пастушеских кнутов с волосяным концом.

<...>

А бонна все лила и лила мне в глаз воду.

Наконец она убрала руку и тихо сказала, улыбаясь куда-то в сторону:

— Карл Иванович. Карл... Иванович... Нельзя не читать это... «И я биль золда. И я носиль амуний...» — Она нахмурилась и повторила совсем тихо: — «И я биль золда...»

А потом, уже совсем успокоившись, я снова стоял на безопасном расстоянии от падающих сверху кирпичей и обломков кладки и видел, как однорогая корова нашей соседки, напуганная грохотом, множеством народа и ломающимися деревьями, неожиданно кинулась в самую гущу происходящего, и оборвавшийся березовый сук с шумом упал на нее сверху, и она рухнула как убитая на землю и затихла, даже не пытаясь встать. Купола лежали у подножий исковерканных берез, лопнувшие, раздавленные, с засиженными птицами, погнутыми крестами и запутавшимися в них ветками с глянцевыми листьями, дрожащими в ярком июльском солнце. Вокруг церкви стояли бабы, мелко крестились и вытирали слезы.

<...>

Корова лежала около груды битого кирпича и перемалывала ногами. Подбежал раздраженный, в запыленном френче старик, распоряжающийся разрушением, и прежде всего убрал ветку, накрывшую корове голову. Затем присел на корточки, умело и не спеша коснулся пальцами ее вымени, вздохнул и начал привычно и по-мужски сильно доить ее. Тугие струи молока с шипеньем ударялись в землю.

Кончив доить, старик с трудом разогнулся и отошел в сторону, стряхивая молоко со своего защитного френча. Корова тяжело и неловко поднялась, постояла немного, опустив голову, и, пошатываясь, побрела вниз по склону. Я смотрел ей вслед, и в ушах моих, как эхо, звучали слова, только произносимые почему-то мужским голосом: «И я был золдат... И я был золдат...»

## ПИСЬМА АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО ИЗ ЮРЬЕВЦА ОТЦУ НА ФРОНТ

21.05.42 г.

Милый папа!

У нас уже каникулы. Я перешел в 4-й класс с такими отметками:

Русский устный, естествознание, география — отлично.

Русский письменный, арифметика, история — отлично.

Я занимаюсь по-французски и играю на рояле.

15.06.42 г.

Милый папа!

На той стороне Волги есть белые грибы. Когда мама ходила туда, то набрала 5 белых грибов. Я тебя очень люблю. Я Маринке сделал качели. Когда мы приехали в Юрьевец, у нас на окне не было ни одного цветка, а теперь у нас две розы, кактус и пальма.

25.06.42 г.

Милый папа!

Поздравляю тебя с днем рождения! На твоё рождение мы пекли пироги. У нас вернулся Груздев без ноги с войны, они живут на той стороне коридора. Они все рады. Я выписал «Дружные ребята» и уже получил три номера. У нас начинаются хорошие дни. Папа, где ты находишься? У нас в лесу очень много грибов. Даже по радио говорили, что в Ивановской области большой урожай грибов.

16.07.42 г.

Милый папа!

Мама ходила в деревню и принесла черники, земляники. Но ягоды очень далеко, и мы туда не поедem. Бабушка разбила коленки, и Марина ставила ей компрессы. Мы сегодня собираемся в деревню Жуковку, если не будет дождя. Привет от бабушки. Целую крепко-крепко. А. Т.

16/07-42. Милый папа!

Мама ходила в деревню и принесла черники, земляники. Но ягоды очень далеко и мы туда не поедem. Бабушка разбила коленки и Марина ставила ей компрессы. Мы сегодня собираемся в деревню Жуковку, если не будет дождя.

Привет от бабушки.

Целую крепко-крепко. А. Т.

31.12.42 г.

Милый папа!

В школе у нас теперь военное дело, а учит нас Александр Георгиевич Горчаков. Первый раз у нас военное дело было в зале, второй во дворе, а сегодня будет военное дело на лыжах. Марина сейчас в школе, а мама ходила за водой, а бабушка ушла за хлебом. Я пишу письмо. Вот и пришла бабушка с хлебом 1 кг 600 г.

27.02.43 г.

Дорогой папа!

У нас все хорошо. Твое письмо получил. Сегодня в школе будет кросс, в гор. саду. Вчера мы с военфуком ходили в городской сад и стреляли из мелкокалиберной винтовки. Наводка у меня хорошая, а когда я стрелял, то попал в десятку.

Бабушка мне сшила рубашку, а Марине сарафан.

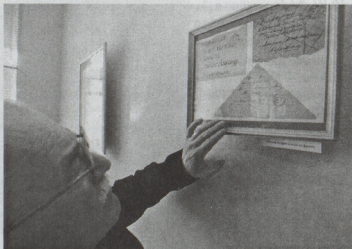
У нас сейчас тепло. Скоро уж весна. Марина сейчас в школе, у нас в школе был утренник.

У нас на Волге сел самолет-разведчик. Мы с Мариной ходили его смотреть. Один летчик улетел на аэродром, а другой ушел в ресторан обедать.

43 г.

Милый папа!

Я умею лазать на крышу, только мама не позволяет лазать, потому что ругаются соседи... У нас все хорошо, позавчера мы ходили в кино и смотрели «Весенний поток», она очень интересная. А сегодня пойдем на «Василису Прекрасную». Я не грызу ногти, и они у меня большие.



Юрвец. 2005 г.  
Фотовыставка  
«Семья Тарковских  
в военные годы»



Марина Тарковская

# «Я МОГУ ГОВОРИТЬ...»

– Можно ли считать биографическим ваш фильм «Зеркало»?

– Да, фильм во многом биографический.

В нем нет ни одного выдуманного эпизода.

Из ответов А. Тарковского  
во время встречи со зрителями.  
Москва, 1981 г.

– Какую роль детство играло в вашем творчестве?

– Я никогда не разрабатывал тему детства как такового.  
Сюжетом ни одного фильма детства не было...

Мы придаем несколько чрезмерное значение роли детства...

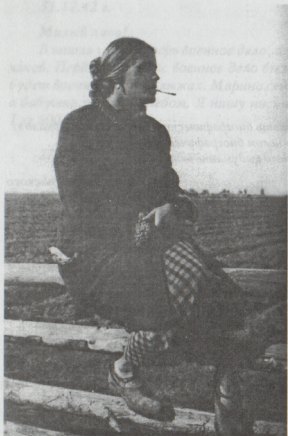
Из интервью А. Тарковского  
парижскому еженедельнику  
«Фигаро-магазин», октябрь 1986 г.

В 1972 году я спросила Андрея о его новой работе. «Хочу сделать фильм о нашей сумасшедшей семье», – ответил он и усмехнулся. Слово «сумасшедший» никак не вязалось с нашими родителями, эпитет показался мне незаслуженно обидным. Только позже, посмотрев фильм «Зеркало», я поняла смысл сказанного и нашла оправдание горькой усмешке брата.

Эпиграф к фильму: «Я могу говорить». Для меня он значит, что наконец Андрей освободился от табу, которому мы с ним, добровольно и не сговариваясь, следовали многие годы – никогда не говорить о том, что пережили в детстве. Мы были детьми с обычными детскими занятиями, радостями, играми, но мы были отмечены горькой печатью – нас оставил отец, горячо нами любимый.

Он был самым желанным, самым красивым, самым родным. От него знакомо пахло кожаным пальто, трубочным табаком, хорошим одеколоном. Мы всегда ждали его прихода с нетерпением, он обязательно приходил к нам в наши дни рождения. Какие прекрасные подарки он нам делал! Это были самые скромные вещи – отец не был богат, – но они были отмечены его необыкновенным даром превращать в чудо все, к чему бы он ни прикасался.

Как высокочтожеством называла его мама: «Арсений!» Сколько преклонения звучало в по многу раз повторяемой бабушкой истории: «А вот Арсений в тридцать четвертом году мне сказал...»



Мария Ивановна Вишнякова —  
мама Андрея Тарковского

И вот он ушел от нас, живет в другой семье, а не с нами. Мы, дети, не могли тогда знать, как сложны бывают отношения взрослых, сколько нужно любви, терпения и самоотречения, чтобы сохранить семью. Возможно, эта ранняя травма и сделала Андрея отчаянным задирой, а меня — замкнутой, молчаливой девочкой.

Была мама — это тоже целый мир, надежный, любимый, но повседневный, привычный, со множеством требований и запретов. Мир, от которого Андрей, самоутверждаясь, отталкивался в детстве, а став взрослым, уже не смог в него вернуться.

Мы помнили самое страшное. Ранняя весна 1942 года. На Волге ледоход. Солнце, резкий ветер. Весь городок Юрьевец, куда мы эвакуировались, высыпал на берег ловить плывущие по реке бревна — надо было как-то отапливаться. Мама прыгает по льдинам, достает бревна, мы с берега помогаем их вытаскивать. И вдруг

на наших глазах она проваливается под лед, на какое-то мгновение исчезает среди громоздившихся друг на друга льдин и ледовой каши...

Помнили, как в 44 году шли в госпиталь на Серпуховской улице. Он был там, где сейчас Институт имени Вишневского. Идем с мамой навещать папу. Мы уже знаем, что он ранен, потерял ногу. Сейчас мы увидим его впервые после ранения.

Мы помнили еще и многое-многое другое, о чем никогда ни с кем не говорили. Мы никогда не спрашивали наших родителей, как и почему они разошлись. Это тоже было запретной темой.

И вдруг Андрей заговорил...

«Мне часто снится дом моего детства...» — начинает свою исповедь герой «Зеркала». Хочу рассказать немного об этом доме.

У мамы было твердое жизненное правило: что бы ни происходило, как бы туго ни приходилось, детей необходимо вывозить на лето из города. Каждое

лето обязательно мы выезжали в деревню. Сначала жили там с мамой, когда были совсем маленькие, потом с бабушкой, а после войны одни. Были деньги — нанималась машина (обычно это был грузовик). Чаше денег не было. Тогда тащили на себе одеяла, подушки, посуду и прочий скарб.

Весной 1935 года друг наших родителей Лев Владимирович Горнунг, а попросту дядя Лев, повез их на станцию Тучково Белорусской железной дороги, чтобы помочь снять на лето дачу.

Они пешком пришли в деревню Игнатьево. Там снять ничего не удалось, но в деревне сказали, что на хуторе у Горчаковых еще «не сдадено». Показали, как идти, — по краю оврага, потом наискосок через поле. В соснах стоял деревенский дом. Огород, несколько яблонь, сеной сарай, маленький пруд. Невдалеке — небольшая родниковая речушка, впадающая в Москву-реку.

Тихо, красиво... Договорились с хозяевами и жили у них несколько летних сезонов. Каким-то образом ликвидация хуторов и отрубов, проводимая вместе с коллективизацией, пощадила хутор Горчаковых, дом был перевезен в деревню только в 1938 году. На его месте и сейчас видны остатки фундамента, заросшие крапивой и малиной, да яма, где был когда-то пруд.

На хуторе мы были окружены природой, вернее, погружены в нее. Это, пожалуй, самое главное. Мы купались в холодной речке, бегали почти голые, босые, становились крепче и здоровее. Но незаметно, с маминой помощью, мы постигали глобальную красоту природы и прелесть ее подробностей: нежные розоватые цветы брусники, коричневато-красные головки кукушкина льна, серые прошлогодние листья, пронзенные стрелками молодого ландыша... Этот мир был обитает: птицы, бабочки, муравьи... Пауки в центре безукоризненной паутины... А как было интересно наблюдать за жизнью весенних лесных луж!

«Мама, там кукушка!» — эти слова, процитированные в «Ивановом детстве», сказал трехлетний Андрей в первое лето на хуторе.



Мария Ивановна с детьми —  
Андреем и Мариной



Лес – светлый, радостный березняк, мрачный ельник, где даже трава не растет, сырой осинник... В первых фильмах Тарковского, еще не порвавшего связь с живой природной материей, еще не ушедшего от нее в сферы философского осмысления мира, природа – одно из действующих лиц. Березовая роща в «Ивановом детстве», зловещий, сулящий недоброе словый лес в сцене ослепления мастеров из «Андрея Рублева» не случайны. Они жили в душе и памяти автора и, когда понадобилось, стали точным художественным образом.

Мама очень любила цветущую гречиху. У гречишного поля мы всегда останавливались, замолкали и слушали, как гудят пчелы в бело-розовом бесконечном море. С памятью о маме связана сцена на дороге среди поля гречихи в «Рублеве». Недаром Андрей написал на проспекте к фильму: «Милой маме – виновнице этого действия».

Примерно в 1931 году Лев Горнунг стал заниматься фотографией. Снимал друзей, знакомых, среди которых было много писателей и художников. У него есть удачные снимки А. Ахматовой, А. Кочеткова, Б. Пастернака, С. Шервинского. Нам повезло. На протяжении многих лет Л. Горнунг фотографировал наше семейство в Москве, на Волге, в Тучкове. Составилась как бы фотохроника, действующими лицами которой были наши родители, бабушка и мы, дети. Многие фотографии, с детства изученные нами до малейшего штриха, до травинки, превратились впоследствии в кадры «Зеркала»: мама сидит на слегах ограды, пьет из колодезного ведра, полощет белье на речке, и мы – остриженные наголо, чтобы не обовшивели в деревне и чтобы «голова дышала»...

Реалии, окружавшие нас в детстве, возродились на экране и наполнились глубоким смыслом бытия. Бутылъ с керосином, привозившаяся из Москвы, таз, зеркало, лампа... Картошка и молоко – наша обычная еда в деревне.

Однажды загорелся сенной сарай в конце усадьбы. Его поджег, играя со спичками, малолетний хозяйский сын. От страха он убежал в лес, его долго искали, думали, что он остался в горящем сарае. В фильме этот эпизод подчеркивает драму героини, создает чувство тревоги и беспокойства.

Огромный зеркальный шкаф стоял в одной из двух десятиметровых комнат на Щипке. Он порядком попутешествовал вместе с бабушкой. В 1936 году, похоронив мужа, она приехала к маме в Москву и привезла свою громоздкую старинную мебель. В зеркальном шкафу кроме одежды, белья хранился кусок черного бархата, намотанного на картон, переживший даже эвакуацию, когда было выменено на еду почти все.

Бархат был подарен папой, и мама надеялась, что когда-нибудь сможет сшить из него платье. (Увы, он был украден соседями, временно вселившимися в сорок третьем году в нашу комнату.) Однако шкаф был не только предметом меблировки, частью нашего домашнего обихода. Он казался почти одушевленным, чуть ли не членом семьи. Бабушка очень берегла его, боялась, как бы мы не разбили зеркало, защищала от посягательства Андрея, который прино-



вился зажигать об него спички. Следы этого насилия до сих пор видны на зеркальной поверхности.

А.В. Горнунг сфотографировал папу около этого зеркала в один из его приходов к нам на Щипок, позднее там же снял и Андрея в день его шестнадцатилетия.

Война разделила нашу детскую жизнь на две неравные части. Было короткое «до войны», которое смутно вспоминалось как что-то прекрасное, но малореальное, и было тревожное, неуютное настоящее.

В середине мая 1941 года мама перевезла нас с бабушкой в село Битюгово на реке Рожайке, где мы должны были провести лето. Там нас и застала война (Андрею тогда было девять лет, мне — шесть). Сразу появились новые слова: налет, бомбежка, военная тревога... Местные жители рыли окопы. Вскоре мы вернулись в Москву. Взрослые говорили об эвакуации. Мама соглашалась ехать только из-за нас, детей. Она не захотела эвакуироваться с семьями писателей в Чистополь. Мы уехали в Юрьевец на Волге. Там за бабушкой была забронирована комната, оставались кое-какие знакомые. Там должны были еще помнить врача Петрова, маминого отчима.

В Юрьевце нас ждала суровая жизнь эвакуированных. Мама долго не могла устроиться на работу. Жили на половину папиного военного аттестата (вторая половина принадлежала его матери и жене, которые жили тогда в Чистополе). Была еще мизерная бабушкина пенсия. Спустя какое-то время мама стала работать в школе. Питались мы в основном тем, что удавалось выменять на рынке или в окрестных деревнях. К дальним походам мама готовилась заранее — подбирались вещи для обмена, бабушка шила из плюшевых занавесок детские капоры. Если дело было зимой, то мама увязывала барахло на санки и пешком, через замерзшую Волгу, шла его менять. Уходила она обычно на несколько дней, ночевала по деревням. Ночевать пускали, кормили чем бог послал.

В один из таких походов были выменены на меру картошки (мерой служило небольшое прямое ведро) мамины бирюзовые серьги, которые в свое время привезла из Иерусалима бабушкина родственница. В конце прошлого века она поехала туда поклониться Гробу Господню, а заодно попросить для себя благословения в монастырь. Но вместо этого ее благословили на брак с врачом местной православной колонии греком Мазараки. После его смерти тетка Мазараки вернулась в Москву к своей племяннице, бабушкиной матери. Привезенные ею золотые серьги с выгравированными на них изречениями из Корана спустя годы оказались в заволжской деревне.

Случай с серьгами вошел в фильм «Зеркало», но их романтическая история осталась за кадром. Да она и не нужна была режиссеру, его интересовали нравственные проблемы. В эпизоде продажи серег он столкнул два мира — мещанское бездушие с его слепой самовлюбленностью, с его пошлостью и высокое духовное начало.



Весной 1943 года среди ребят пронесся слух: «Привезли ленинградских детей!» Бежим к школе, карабкаемся к окнам. То, что мы увидели, поразило. Все мы были тощие, одни ребра, но здесь такое непереносимое зрелище до предела истощенных, почерневших детей! Они не шевелились и только смотрели на нас необычно огромными глазами, в которых отсутствовал свойственный детям живой интерес к происходящему.

Ленинградских детей вскоре увезли дальше по Волге, но эта встреча врезалась в память навсегда. Помнил о ней и Андрей и в «Зеркале» одному из таких блокадных детей простил его мальчишеский проступок, ибо многое должно проститься ребенку-сироте, перенесшему голод и страдания. Птица, слетевшая к мальчику Асафьеву, — это знак доверия, прощения и примирения.

Люди, прошедшие муки, перенесшие блокаду, считаются в народе носителями самой высокой морали. «А еще ленинградец, блокадник», — говорит военрук. Эти звания несовместимы с дурными поступками, с подлостью, с жестокостью.

Летом сорок третьего года мама получила долгожданный пропуск в Москву. Во время эвакуации она ежемесячно высылала деньги за квартиру (квитанции хранятся до сих пор). Это помогло нам вселиться на нашу довоенную жилплощадь на Щипке. Остаток лета мы с Андреем провели в пионерском лагере в писательском поселке Переделкино, а с осени мама оформилась сторожем при даче, где летом находился лагерь. Это двухэтажная деревянная дача, в которой жил до своего ареста писатель Бруно Ясенский. В предвоенные годы там был детский сад, потом пионерский лагерь, а сейчас — Дом творчества писателей.

Мы занимали крохотную комнату с кирпичной печуркой (остальные комнаты не отапливались). Сохранилось боковое крылечко, которое вело к нам. По соседству были дачи Инбер, Тренева, Павленко, подальше — Фадеева. С сыном Фадеева, Сашей, Андрей играл в «солдатики». Рисовались или вырезались из книг и журналов фигурки солдат разных стран и эпох, наклеивались на плотную бумагу, отгибалась подставка. Андреевы солдатики хранились в папиросной коробке из-под «Казбека». Ребята, сидя за столом или лежа на полу, дули в спины своим солдатам, те двигались навстречу друг другу, сшибались, один падал и брался в плен, а победитель продолжал войну. Армия нуждалась в пополнении. Андрей, будучи необычайно азартным, метался в поисках резервов. Случайно он напал на золотую жилу. На чердаке инберовской дачи нашел целую грудку книг. Из них-то и начало активно пополняться его войско. Это были отборные красавцы преображенцы и семеновцы, солдаты времен Крымской и Японской войн, средневековые рыцари, конные и пешие. Возвратясь после войны на свою дачу, Вера Инбер жаловалась знакомым писателям, что какие-то варвары испортили ей книги.

История с игрой в солдатики всплыла в памяти, когда я увидела в «Зеркале» старинный том с репродукциями. Сцена снималась в Переделкине у той же литфондовской дачи, где мы жили после эвакуации.

В Переделкино осенью сорок третьего года к нам неожиданно приехал с фронта папа. Помню, мама вымыла пол и послала меня за лапником, чтобы постелить у порога. Видимо, я провозилась в елках довольно долго. Вдруг у зеленого сарайчика, стоявшего поодаль от дачи, я увидела стройного человека в военной форме. Он пристально глядел в мою сторону, словно высматривая кого-то. Я не узнавала папу, пока он не крикнул: «Марина!» Знакомый папин голос... Не веря себе, я замерла на месте, потом со всех ног помчалась к нему. Какую радость и гордость мы тогда пережили! У папы на погонах было четыре звездочки, он был капитаном, а на груди — орден Красной Звезды. Правда, папа не привез обещанные Андрею немецкие кинжал и каску, но зато были военные, во всю буханку, черные сухари, американская свиная тушенка и сахар.

Это была наша последняя встреча с папой до его ранения зимой сорок третьего года. А потом — госпиталь, костыли...

И вот май 45-го, Победа! В фильме Тарковского это хроникальные кадры праздничного салюта, радостная толпа на Красной площади. Мне этот день запомнился таким. Мама, которая обычно опасалась толпы, боялась давки, повинувшись общему порыву, повела нас днем на Красную площадь. Мы шли в числе многих по Большой Серпуховке, по Полянке, мимо «Ударника», через большой Каменный мост. Помню Моховую улицу, толпу людей у американского посольства. Увидав свернувшую к зданию машину, народ мгновенно окружил ее.

Мы оказались совсем рядом. Помню, как закачалась машина под напором толпы, как изменились от страха лица сидевших в ней американцев. Под радостные крики автомобиль медленно двигался к арке посольства...

Потом мы были на Красной площади, а вечером на Каменном мосту смотрели победный салют. Всех объединяло беспредельное счастье, будущее казалось прекрасным. Как и тысячи москвичей, мы видели высоко в темном небе освещенный прожекторами портрет Сталина. Мама крепко держала нас за руки, чтобы не потерять в толпе...

Из-за семейных дел маме не удалось закончить Высшие литературные курсы, где они с папой учились. В анкетах, в графе «образование» она писала «неоконченное высшее». Будучи человеком образованным, творческим (к сожалению, она уничтожила все свои стихи, считая их плохими), мама довольствовалась скромной должностью корректора. Чтобы больше времени проводить с детьми, не оставлять их без надзора, она пошла работать в 1-ю Образцовую типографию, до которой было от дома недалеко — минут двадцать пешком. Работа посменная — утро, вечер, ночь. Таким образом, мама могла находиться дома полдня, а если работала ночью, то целый день.

Работа корректора на производстве, в типографии — тяжелый, изнурительный труд. Требовалось максимальное внимание в течение всего рабочего дня. В сталинские времена ошибка, допущенная в изданиях Политиздата, БСЭ, Учпедгиза, расценивалась как политическое преступление. Ошибки, конечно,

случались. Однажды в гранках БСЭ в одной из статей, касающихся Второй мировой войны, вместо «Гитлер и Салаши» (главарь венгерских фашистов) прошло «Гитлер и Сталин». Ошибку поймали в верстке, но тем не менее все пятьдесят человек, работавших в корректорской, замерли от ужаса. Виновные «сушили сухари». Дело кончилось по тем временам благополучно – корректор, пропустившая ошибку, была дисквалифицирована и уволена, а наборщица-линотипистка из-за нервного перенапряжения попала в психиатрическую больницу. Среди работников типографии ходил рассказ и об ошибке в самой фамилии вождя. Об этом рассказывали шепотом, без посторонних.

Мама проработала в типографии до пенсии. Самой драгоценной чертой ее характера была любовь и внимание к людям, с которыми она встречалась. Ей одинаково интересны были сотрудники типографии, в их числе малограмотные, простые женщины, и издательские работники, приходившие в корректорскую. Она находила общий язык с простыми рабочими и с людьми самой изысканной культуры, ей было интересно само общение, сам процесс открытия человека, его душевного богатства. Сторонилась только глупых, злых и непорядочных людей. Мама годами переписывалась со множеством знакомых, вникала в их заботы и беды. Этот интерес и любовь к людям подкреплялись ее добротой, ее готовностью прийти на помощь.

Сама же она никогда не пользовалась чужими услугами, никого не обременяла просьбами.

Мама работала с напарницей, немолодой, больной женщиной. Им приносили сводки с прессов, есть такой типографский процесс. Быстро, так, чтобы та не заметила, мама издали определяла, какая из сводок труднее, где больше сплошного текста. Такую сводку она брала себе, а более легкую оставляла сотруднице. И так в течение нескольких лет...

Маргарите Тереховой, удивительной актрисе, так тонко сыгравшей роль матери, удалось передать цельность и глубину ее характера, ее независимость и гордость, и одновременно – незащищенность и ранимость. И тем не менее, героиня «Зеркала», конечно, не наша мать – Мария Ивановна Вишнякова. Андрей показал на экране свою версию ее характера, жизненного предназначения и судьбы. А судьба эта неотделима от жизни ее поколения и ее Родины.

Светлана Жихарева

## АНДРЕЕВО ДЕТСТВО

Помните лужу в заключительных кадрах фильма Андрея Тарковского «Ностальгия»? В ней отражаются небо и облака. Помните сидящего рядом с ней человека? Его вытащили из этой лужи. А он в ней ЖИЛ! Когда я вижу этот эпизод, я всегда вспоминаю тот приступ тоски, который овладел мною в первую ночь, проведенную в Кёльне. Ощущение одиночества и оторванности от Родины, от привычной среды запало в душу навсегда: красивые река, небо и облака были чужими. В такие минуты спасением может стать лишь вера в скорое возвращение.

Жизнь разрушает наши представления не только о ней, но и о самих себе, делает иллюзорными наши идеалы, оставляя за собой во времени руины воздушных замков. Родительский дом и семья, земля наших предков — вот те места, куда стремится разочарованная или обиженная, уставшая от одиночества душа. Они просты, как хлеб и вода. Без них — нельзя. Мы там ЖИВЕМ!

Мое восприятие фильмов Андрея Тарковского миновало посредников и произошло обычно, как и у большинства современных зрителей, которые просто смотрят фильм, не зная заранее его содержания и смысла. Единственное, что жило в сознании, так это оброненная кем-то реплика о необычности и талантности кинорежиссера, и то оживление, которое было в нашей студенческой группе по поводу фильма «Андрей Рублев», демонстрировавшегося тогда в Иванове. Я еще ничего не знала об Андрее Тарковском, о судьбе его фильмов, о тех трудных творческих и нравственных поисках, которые отразятся потом в жизни героев его произведений. Но я уже знала о том, что мой маленький городок имеет отношение к жизни и творчеству этого человека.

В последнее время появилось много публикаций, где Юрьевец упоминается как родина Андрея Тарковского. Утверждать так вряд ли стоит. Завражье, бывшее в 30-е годы в черте Юрьевецкого уезда, — место рождения; в Юрьевце же родители вместе с малышами гостили



несколько раз летом и во время войны два года прожили в эвакуации у бабушки. Очевидно, что наш край для Андрея Тарковского не был родиной в том смысле, какой мы вкладываем, говоря о так называемой малой родине, о земле, взрастившей человека в начале его жизненного пути.

Воспоминания о детстве у Тарковских связаны не только с Юрьевцем и Завражьем, но и, прежде всего, с Москвой и Подмосковьем. Для Андрея Тарковского, так же как и для его сестры Марины Арсеньевны, Юрьевец, скорее всего, лишь часть тех впечатлений, из которых складывается их детское прошлое.

Писать о детстве любого человека всегда трудно. Оно скрыто временем и невосполнимо из-за утрат. Уходят те, с кем связана память детства. Трансформируются под влиянием эмоций воспоминания, стираются имена, и трудно проверить факты. С обидной неумолимостью исчезают вещи и документы. Но, тем не менее, то малое, что дошло до нас из тех трудных 30-х и 40-х годов, всё же даёт нам возможность представить облик Юрьевца и его быт в те времена, когда здесь жили Тарковские.

Знали о Тарковских очень мало. Да и прожили они в Юрьевце недолго. Уже летом 1943 года семья вернулась домой, в Москву. Андрею Тарковскому еще предстоял долгий и сложный путь к творчеству. Но несомненно то, что Юрьевец, Завражье и их окрестности, с неповторимым бытом, природой, колокольным звоном церковей, незабываемый мир детства всегда жили в памяти и воображении Тарковского-кинорежиссера. Об этом говорят его фильмы.





## Город

*«Город, конечно, сильно изменился с довоенных и военных времен, когда мы там бывали, но то, что остался он незатопленным, я отношу к чудесам...»*

М. А. Тарковская

Дома в снежных шапках, словно провалившись в сугроб и замкнувшись в себе, молчаливо прислушивались к тому, что творилось внутри их деревянной или каменной оболочки. Дымили трубы. Дым был белый и какой-то густой, плотный. Ветки деревьев устало переплелись в замысловатую сетку. Улица скрипела и сверкала. В небе отражалась зима, а белеющая вдали колокольня казалась вылепленной из снега. Ночь, быстро и тихо спускавшаяся на землю, была серебристо-лунной.

Природа в Юрьевце действительно порой бывает сказочной. И скорее уютной, чем величественной. Размахом же своим притягивает река. Чувство пространства неумолимо охватывает вас, и когда вы стоите рядом, и когда вы оглядываетесь на неё, поднимаясь на городские горы. Часто бывает трудно понять, где кончается река и начинается небо. Тонкая линия противоположного берега никаким образом не разрушает единства сфер. В ясную погоду там видна колокольня.

До 1956 года Волга была другой: около одного километра шириной, заселенной многочисленными островами и, главное, непредсказуемой. Издавна своенравная река сама себе прокладывала путь после очередного разлива. Русло её в наших местах каждый раз менялось, соответственно менялось и место пристани речных судов.

Река играла большую роль в жизни юрьевчан, и в те годы жители города в большей степени были волгарями, чем, скажем, сейчас. Гордостью реки считались великолепные широкие луговые поймы. Вода разливалась в округе до 8 километров. Речки, впадавшие в Волгу, кишели рыбой, щука заходила далеко даже в самые маленькие речушки. Деревни, которых было очень много, сообщались между собой по воде, на лодках. В ту пору мальчишек домой не загнать: рыбачили, ставили замеры прибывающей и убывающей воды... Незабываемы цветущие вербы и тал среди этого половодья. Мягкая влажная заливаемая земля была потрясающе плодородна. Благоухающие сирень, черёмуха, гречиха пьянили, в воздухе стоял гул пчел. Обильное разнотравье прославляло эти места щедрыми сенокосами. Трава вырастала такая, что у косцов видны были лишь головы и плечи. Овощи созревали без полива, а капустный вилок вытягивал до 10-15 килограммов.

Восхищение, с которым жители рассказывают о красоте пойменных лугов, передать словами сложно. Представить это человеку, никогда не видевшему подобного, ещё сложнее.

Не менее интересные воспоминания о ледоходе. Для горожан это было памятное событие и изумительное зрелище. Шум движущегося льда приближался издали. Воздух чистый, прозрачный. Огромные льдины, вздыбленные могучим напором, не выдержав, рассыпались. Треск льда трудно назвать треском, скорее – это гром, возвещающий о пробуждении воды.

Зинаида Михайловна Кузнецова в своих воспоминаниях пишет: *«Смотреть ледоход мы бежали сразу после уроков каждый день. Волга уносила с собой обломки лодок, бревна, непонятно откуда взявшиеся стожки сена. Однажды, затаив дыхание, с замиранием сердца мы следили, как коза с козленком, прыгая с одной льдины на другую, стремились к берегу. Прыжки были изящны, грациозны, легки и точны, но трагичны... Не знаю, можно ли привыкнуть к этому зрелищу, но в моей памяти ледоход на Волге оставил неизгладимый след».*

Когда-то Юрьевец был культурным городком, чистым, ухоженным. Сюда часто навещались художники, артисты, певцы, останавливаясь у своих знакомых. Здесь проживало много интересных, подлинно интеллигентных людей. Слушаю об этом с завистью и с сожалением о минувшем. Одна из таких – Нина Александровна Соловьева, в прошлом учитель рисования. Она вспоминает Пасху в старом Юрьевце: *«Весь город погружался в музыкальный звон, в пасхальные дни в городе звонили все колокола. Звон юрьевцевских колоколов считался особенно музыкальным, тонким, изящным и признавался как большое искусство. Он хорошо был слышен по воде, перекликаясь с колоколами окрестных сёл».* «Плыл вниз от Юрьевца по Волге звон пасхальный...» – эти строки написаны Арсением Тарковским в 1932 году в Завражье.

Храмы, колокола – тема особая для Юрьевца. Она слишком значительна и слишком печальна. Было время, когда мальчишки-гимназисты могли звонить

сколько хочешь в честь весёлой масленицы. И пришло время, когда колокола замолчали, когда бесследно и навсегда утрачена неповторимая красота Юрьевца.

Вспоминают все по-разному...

*«Из письма тетки я узнала, — пишет Зинаида Михайловна Кузнецова, — что колокольня обветшала, грозит падением, что стране нужен металл, поэтому принято решение снять колокола. Снимали их ночью, предварительно обмотав языки тряпками, чтобы не будили город».*

И.М. Груздева запомнила, что было много народа, что сброшенный с высоты колокол ушел глубоко в землю, а «один человек упал и убили насмерть». Кто-то рассказывал, что колокола снимали, спуская по туго натянутому тросу на глазах толпы, затаившей дыхание.

Теперь в Юрьевце мало кто знает, что звон от большого колокола Печерской церкви спасал от микробов, да и где она, эта церковь, тоже не скажут.

В то предвоенное время Юрьевец имел ещё одну достопримечательность, к сожалению, не существующую ныне. По выходным дням спокойный провинциальный уклад нарушался беспокойной суетой базара. Там, где сейчас находятся автостанция и небольшой сквер, когда-то шла бойкая торговля. Кого и чего там только не было! Торговать приезжали засветло, издалека. Снаряжали свои подводы на городской базар не только юрьевецкие крестьяне, но и сокольские, и завражские. Продовольствие и товар предлагались на любой вкус. Вновь вспоминает Зинаида Михайловна: *«Торговали с возов, на рядах, на земле. Все это кричало, шумело, пахло: кони, поросята, козы, овечки, плетеные корзины всех размеров, форм и назначений, глиняные корчаги, шкуры, грибы, ягоды, яблоки, картошка, репа, брюква, овес, мука... Да разве все перечислить!»*

Хозяйки запасались продуктами на всю неделю. К полудню торг стихал.

В военные годы базар не прекратил своё существование. Он стал только как-то тише, беднее. Заметно поубавилось коней. Редкими стали молоко, мясо. А то, что продавалось, стоило так дорого, что купить было многим не по карману. Надвигалось голодное время.

Еще недавно мне казалось, что Юрьевец для Тарковских был связан с какими-то неприятными, плохими эмоциями, вызванными их тяжелым положением эвакуированных. Теперь я знаю, что это было не совсем так.



## Дом

*«Комната была наполнена солнечными отражениями, дрожащими на гладко выструганных медовых стенах полутенями кружевных занавесок, бродивших по полу и вызывающих привычное головокружение, от которого пол уходил из-под ног...»*

Андрей Тарковский

Дом, в котором жили Тарковские, смотрится ещё неплохо. Крепкие бревна, крыша, высоко устроенные окна. Однако пристальный, внимательный взгляд отмечает не только запущенность и заброшенность жилья, но и его разоренность. Постарались и время, и человек. Жильцы не заботились о доме, поэтому судьба его незавидная. Слепые от грязи окна, замызганные кухня и коридор, в кладовке – свалка старья. Трудно даже представить, что здесь живут люди. Полуразвалившиеся сарай и догнивающий забор, полумёртвый двор с запущенным огородом – вот то зрелище, которое предстало передо мной, когда я впервые посетила этот дом.

Но, как всегда, оказалось, что не так все плохо, что нет худа без добра. Впоследствии мы осматривали дом уже вместе с Мариной Арсеньевой, и она отметила, что печь, кухня, коридор, кладовка и даже лестница на чердак – почти все осталось таким, каким она помнила с детства.



Меня часто спрашивают, тот ли это дом, который снимал А. Тарковский. Отвечаю, что нет, не тот. Юрьевецкий дом не стал тем Домом, образ которого предстаёт в его фильмах. Разве что отдельные детали, фрагменты... Да вряд ли и другие дома, где приходилось жить Тарковским, могут претендовать в полной мере на их точное воспроизведение. Образ Дома в фильмах, как всякий художественный образ, сложен. Он вобрал в себя различные впечатления режиссера, эмоционально питавшие его творчество.

Юрьевецкий дом не стал тем Домом ещё и потому, что он не был только ИХ домом. В нем жили несколько семей, причем всегда разных и не всегда в согласии.

Жить было тесно, да так, что матери приходилось спать на столе, а нянька Аннушка устроилась у окна в коридоре, разместив свои нехитрые пожитки в сундучке и на полке в углу.

Зимой любили греться на печной лежанке, которой уж нет.

Мебель у бабушки была старинная, красивая и добротная. Потом часть её Вера Николаевна переправила в Москву, часть осталась в Юрьевце. И по сей день в московской квартире Марины Арсеньевны отсчитывают время старинные часы, которые висели на стене дома. В Юрьевце мебель была распродана, кое-что пропало бесследно, кое-что ещё предстоит найти.

Помимо житейских неудобств и проблем, таких, например, как общая кухня или неурядицы с огородом, и которые, впрочем, больше касались взрослых, чем детей, дом этот оставил в памяти А. Тарковского и светлые впечатления.

*«В то далёкое довоенное утро я проснулся от счастья. В окна бил праздничный солнечный свет и падал оранжевыми прямоугольниками на блестящий крашеный пол. Солнце, пронзительно вспыхнув, капризно преломлялось в графеном флаконе и радугой разбрасывалось по белизне фаянсового умывальника, стоявшего в углу».* Так А. Тарковский описывает утро в бабушкином доме в Юрьевце.

Будущая судьба этого дома решена — он станет музеем. Я ещё не знаю — хорошим или плохим. Или в нем сохранится дыхание жизни и воссоздаваемое там прошлое найдет отклик в душах людей, или он станет очередным мемориальным памятником разового посещения лишь для почитателей творчества кинорежиссера. Не знаю. Но я видела лицо Марины Арсеньевны, когда она входила в дом; я видела встречу с детством.





## Семья

*«Бабушка возвратилась на кухню и закрыла за собой дверь. Там они опять о чем-то шептались, совещались, бабушка всхлипывала, мать иногда вскрикивала в отчаянии».*

Андрей Тарковский

Марина Арсеньевна Тарковская, отвечая на вопрос, каким ей видится музей в Юрьевце, особо выделила мысль о том, что экспозиция не должна быть посвящена только семье Тарковских, в ней должны быть материалы и о семье Петровых и их юрьевецких знакомых, о жизни, быте и нравах Юрьевца тех лет.

Информация, которой я располагаю на данный момент, ещё крайне недостаточна, чтобы дать целостное представление о семье Андрея и Марины Тарковских, точнее, о той части семьи, чья жизнь связана с Ивановским краем. И все же мне уже есть что сказать.

На городском кладбище покоится прах человека, судьба которого имеет прямое отношение к семье Тарковских. Николай Матвеевича Петрова в наши места привели, как пишет Марина Арсеньевна, несколько обстоятельств: привязанность к родным местам (родина его – г. Шуя), невозможность прожить в Москве и неутолимая страсть к охоте.

Николай Матвеевич – сельский врач. Простые люди называли его фельдшером, а фельдшер на селе – фигура заметная. Теперь уж мало осталось тех, кто знал его. Им запомнилось самое характерное: жизнерадостность, обаяние, любовь Николая Матвеевича к природе. Несомненно, что был он человек интересный, широкообразованный и высокой культуры, общавшийся в своё время с К. и А. Бальмонтами и Л. Собиновым.

В Юрьевец из Завражья и «Красного Профинтерна» Петровы переехали, вероятно, вскоре после того, как Николай Матвеевич вышел на пенсию. Прожили здесь недолго: от приступа стенокардии Н.М. Петров в 1936 году скончался. Похоронили его скромно, обозначив могилу деревянным крестом.

Вера Николаевна, человек энергичный и решительный, слыла женщиной доброй и «самообладательной». Для родных она была «милой, бестолковой бабушкой». Большую часть своей жизни она посвятила семье: берегла, воспитывала, беспокоилась, хлопотала... Годы пролетели в бесконечных заботах и трудах, одни переезды чего стоили. Перемешалось всё – и радость, и печаль...

О своей маме Марии Ивановне Вишняковой ее дети рассказывают очень искренно и проникновенно, с глубокой признательностью и бесконечной любовью. Вот строки Марины Арсеньевны о ней: *«Была мама – это тоже целый мир, надёжный, любимый, но повседневный, привычный, со множеством требований и запретов. Жизнь этой женщины складывалась трудно. Складывалась из будничных проблем и тревог, из незаслуженных обид и горьких потерь, кропотливого труда, самопожертвования и любви».*

Она была личностью, оказывая тем самым сильное влияние на своих детей. «Отец имел на меня какое-то внутреннее влияние, — говорил в одном из интервью Андрей Тарковский, — но, конечно, всем я обязан матери, она помогла мне реализоваться».

В Юрьевец Мария Ивановна согласилась эвакуироваться по настойчивой просьбе своей матери, и только ради детей. Сегодня помнят о ней немногие: обаятельная, ласковая, добрая... Вероятно, она и не могла быть иной.

Встретил Юрьевец Тарковских неприветливо. Общая беда не всегда объединяет, случается — и разъединяет. Все силы бабушки и мамы были брошены на то, как прокормить семью и пережить холода. Известный нам по фильму сюжет, где мать вынуждена расстаться с серьгами — семейной реликвией, — лишь краткий эпизод из того, что пришлось пережить. Работы не было. Иногда удавалось подзаработать на лесозаготовках и перевозке дров.

На городском рынке мать обменивала вещи, сшитые бабушкой. Вернувшись в Москву, оформилась «сторожем при даче» в Переделкине. Вот так хранила и растила своих детей Мария Ивановна.

## Аннушка

Когда в воспоминаниях горожан было впервые упомянуто имя «Аннушка», я сразу представила себе девчущку, которую бабушка наняла водиться с детьми, как это делали тогда многие. История жизни этой, как оказалось позже, немолодой женщины вызвала в моей душе глубокую симпатию к ней.

Анна Яковлевна Андриянова, или просто Аннушка, прожила в семье Петровых около двадцати лет. Родилась она в Калужской губернии в 1874 году. Как свела ее судьба с Верой Николаевной, неизвестно. Родственников у неё не было — сирота, поэтому-то и считала Петровых самыми близкими людьми.

Случилось так, что у хороших знакомых Веры Николаевны, тоже



Анна Яковлевна Андриянова.  
Фото 1954 года



*Анна Яковлевна с Андрюшей*

прекрасно готовила. Эта простая, фактически неграмотная женщина знала немало историй, песенок, рассказывая и напевая их своим питомцам.

О-чу-чу-чу, я горох молочу  
На чужом точку,  
На чужом точку, на пригорочку.  
Ко мне курочка бежала,  
Ко мне рябенька,  
А я курочку цепом,  
Она кверху зобом.

Наверняка эту песенку пела Аннушка и Марусе, и Андрею, и Марине, и детям и внукам Н.П. Петрова.

Умерла Аннушка в Иванове, в больнице. Похоронена на кладбище в Балино. После неё остался небольшой серый сундук, в котором она хранила дорогие для себя вещи. Был там и комплект медицинских инструментов Николая Матвеевича. До самой своей смерти, пока хватало сил, она хранила и его могилу.

Петровых, тяжело заболела мать. Двое малышей оказались фактически без присмотра. Кто и как решил судьбу Аннушки, теперь стоит ли гадать, несомненно то, что это был и её выбор. В 1942 году, осенью, она ушла в новую семью.

Детей выходила и вырастила, до конца своих дней так и прожив в этой семье. Связи с Москвой не теряла, надеясь в первое время вернуться: «А вот кончится война, — говорила Аннушка, — я уеду к Вере Николаевне». Она любила Николая Матвеевича и Веру Николаевну, вспоминала о них с восхищением, много рассказывала о Марусе. Бережно хранила все их письма. Андрея называла своим «выхожденцем» и очень-очень им гордилась.

Аннушка обладала многими хорошими качествами, присущими русским деревенским женщинам: хранильница очага, бережливая, строгая, верная, умела помирить,

## Война

...Война преобразила Юрьеvec. Мужья, отцы, братья ушли на фронт. Опустели дома и улицы. По дороге, вымощенной камнем, изредка цокали лошади, машин почти не осталось. Город был затемнен, темнота давила. Вечером было видно, как бомбили Горький, зарево и линии прожекторов высвечивали край неба. Жизнь как бы затаилась за плотно занавешенными окнами, теплилась возле самодельных «фигасиков», слабо освещавших холодные и неуютные комнаты: электричества не было. Чтобы обогреться; всем – и старикам, и женщинам, подросткам – приходилось вылавливать бревна из реки, рискуя здоровьем и жизнью, заготавливать вручную лес на другом берегу Волги, ездить в Южу, чтобы добыть торф.

Таким вот и увидела в 1941 году наш город семья Тарковских, эвакуированная из Москвы.

Цепкая человеческая память может хранить многое, особенно детская. Что в ней могло запечатлеться? Всего скорей – Волга, пристани, пароходы... Старожилы, наверное, помнят, как проплывали по реке, стуча колесами, «Красная Чувашия», «Яхонт», «Бирюза», как с языка срывалось порой: «колесо едет». Возможно запомнились одноэтажные дома или баня – «вшивобойка». Или земляные тротуары с деревянными столбиками по обочине. Или еще что-то... Но о хлебе я скажу особо.

Сейчас мало кто знает, что такое «фура». А тогда о ней нельзя было не знать. Ее ждали, записывались в очередь, потому что «фура» – это фургон, в котором привозили хлеб. Когда она приедет, никто не знал, поэтому очередь часто переписывали, и вместо второго по счету легко можно было оказаться сотым. Вокруг фургона всегда толпились воришки и крали хлеб, лишая несчастных тех 300 граммов, которые полагались по норме.

Труднее всего было детям. Уверена, все они, дети войны, до сих пор помнят, как хотелось хлеба. Его всегда казалось мало, плакали, просили еще. Много хлебных довесков было съедено по дороге домой. Поддерживала детей, как могла, школа. Вряд ли забыл маленький Тарковский те плюшки из черной муки, которые давали в школе. Дети ели на салфетках, которые по просьбе учителей приносили из дома.

Андрюша Тарковский учился в начальных классах так называемой «флягинской» школы. Поэтому следующее мое слово о школе и о тех, кто учил и учился. Память хранит крупицы. А от этого они еще дороже.



## Школа

*«Андрей ходил в школу, в 3 и 4 класс, а я пошла в 1 класс этой же школы в 1942 году».*

М. А. Тарковская

Рядом с домом были Волга и пристань, колокольня и Богоявленская церковь. А еще необычная гора с удивительным камнем наверху. Он был очень большим, юрьевчане говорили, что лежит он здесь около 300 лет, а может быть, и ещё больше.



Здание бывшей «флягинской» школы

Те, кто бывал в Юрьевце, наверняка запомнили стройную белую колокольню на центральной площади города, но мало кто обращает внимание на расположенное поблизости двухэтажное с оригинальным мезонином здание из красного кирпича. В маленьком палисаднике сейчас – высокие деревья, разросшиеся так, что дом почти не видно за ветвями. В 1900 году дом был построен юрьевским купцом Флягиным. Позже здесь устроили начальную школу, юрьевчане с тех пор так и называют её «флягинской».

В тот день, когда Андрюша Тарковский переступил порог «флягинской» школы, ему было 9 или 10 лет. Посадили его в среднем ряду на четвертую парту. Новенький не остался не замеченным. Особенно у девочек. Вот что вспомнила о нем соседка по парте Рита Полушкина:

*«Появился он у нас во втором классе. Сильно отличался от нас. Ростик маленький, сам щупленький, хрупкий. Не то что мы деревенские. Личико курносенькое усыпано веснушками. Говорил на «А», чем и привлек особое внимание детей. Как и многие в классе, учился хорошо. Нарушая традиции юрьевских мальчишек, предпочитал дружить с девочками, которым очень нравился. Однажды Коляка Карабаев из деревни нашел записочку и отдал учительнице. Послание было адресовано новенькому. Вскоре автор его предстал перед строгим директором в канцелярии, а тайна влюбленного сердечка была раскрыта».*



Архив начальной школы № 1 сохранился не полностью. Аккуратно подшитые хозяйственные бумаги, классные журналы, увязанные в стопки тетради – все они датируются примерно 1947–1948 годами и далее, документов же военного времени практически нет. Попались лишь несколько подшивок с производственными отчетами и справками. Интереснее всего оказалась обратная сторона справок. Бумаги в годы войны, как известно, не было, писали кто на чем мог. Справки писали на обоях, на актах инспекторской проверки от 1927 года и даже на документах, датированных 1915 годом. Экономили каждый чистый листок. Вполне вероятно, что школьный архив военного времени не исчез, а просто отсутствовал, т.к. любая бумага шла в дело. Но даже и тот материал, который сохранился, насыщен информацией о жизни школы военных дней.

Документы рассказали, например, о том, что в школе было 14 голландских и две русских печи. За дымоходами тщательно следили, а сами печи отнимали у людей уйму времени и сил. Постоянно встречаются бумаги о заготовке дров. В школьном архиве чудом сохранился обрывок листа в клетку из школьной тетради, на котором сделана следующая запись:

#### СПРАВКА.

*Заплачено за перевоз родителям через Волгу  
на погрузку дров девять руб. /9 руб. /  
для начальной школы № 1.*

22.X.42.

*Зав. школой А. Бобылькова.*

*Профуполномочен.*

*Родительница М. Тарковская.*

Заготовка дров – дело тяжелое, старые учительницы вспоминают, что, когда уставали пилить стоя, пилили сидя. Но дров все равно не хватало. Порой уютное потрескивание печей и их теплое дыхание сменялись холодным, зябким ожиданием тепла. Не всегда удавалось протапливать все печи.

Был в этой школе рояль, и, по всей вероятности, для её обитателей он играл большую роль – прежде всего потому, что был в те дни одним из немногих источников радости. Под звуки марша ребятя делала каждый день перед уроками зарядку, строила спортивные фигуры на уроках и утренниках. Рояль и строгая учительница пения помогали малышам постигать секреты музыкального искусства во время распевки. Не обходился без рояля ни один детский праздник, которые обязательно устраивались для учеников и до, и во время, и после войны. Иногда для ребят вместо рояля заводили патефон.

Кроме печей и рояля чего только не было в школе: репродуктор, чугуны, переплетный станок, молоток деревянный, противогазы и многое-многое другое. Среди этого множества вещей, тихо и незаметно служивших людям, нашлось место и новеньким лыжам. Появились они в школе не когда-нибудь, а в самом трудном и суровом для страны 1943 году.



*Учителя начальной школы № 1. Внизу вторая слева – Л.А. Бобылькова;  
вверху вторая справа – А.М. Лапина, учительница А. Тарковского.*

Фото 50-х годов

Никак нельзя не упомянуть большой кухонный нож для резки хлеба. Его и купили специально для этой цели. Каждый день ребята в большую перемену с нетерпением ждали М.И. Назарову с хлебной сумкой. В ней она приносила на обед детям булки.

Классов в школе было четыре – два сверху и два внизу. Солнышко постоянно заглядывало в окошки, запуская светлых зайчиков на стены и потолок. А ещё в классах было много цветов. Все ученики знали, что цветы – гордость заведующей школой, красивой и обаятельной Людмилы Александровны Бобыльковой, и тоже за ними ухаживали. Красоту, чистоту, порядок здесь любили, а главное, создавали своими руками, все вместе – дети и учителя. Создавали даже тогда, когда, казалось бы, не из чего было создавать, когда всем было очень трудно и не до красоты.

Выдумщицей и мастерицей была все та же Людмила Александровна. Её давно уже нет в живых, но сколько светлой, доброй памяти живет о ней в тех, с кем она работала, кого учила: добрая, умная, пела и рисовала, рукодельница и мастерица на всё, за что бралась. В судьбе Людмилы Александровны нет ничего особенного, выдающегося, разве только одно, но весьма существенное – всю свою жизнь она посвятила школе, своим ученикам. В 1920 году Людмила получает документ об окончании 9 классов Единой трудовой школы. Устраивается на работу учителем. В конце июля 1941 года приказом по району учительницу начальной школы № 2 Л.А. Бобылькову назначают заведующей школой.

Примерно в это же время жизнь и свела ее с М.И. Вишняковой (Тарковской), недавно приехавшей с детьми в Юрьевец из прифронтовой Москвы. С помощью Бобыльковой Марии Ивановне удаётся устроиться на работу в школу. В судьбах и характерах этих милых женщин оказалось много общего. Нашлись общие интересы и в школе. Одна из бывших учениц, Т.Н. Глебова, вспоминает: *«К каждому утреннику у нас был новый репертуар и соответствующее оформление зала. Где мы все это делали? В кабинете у Людмилы Александровны, где была красивая изразцовая печь с тёплой лежанкой. Под руководством Марии Ивановны и Людмилы Александровны мы мастерили, лепили, крепили, вырезали и красили. Тепло их сердец грело нас в течение всего учебного года».*

Память восстановила важное детское впечатление: сплоченность, единство учительского коллектива, которому выпало учить и воспитывать детей, лишенных полноценного родительского внимания. Грохот снарядов и свист пуль на фронте отзывались в тылу рыданиями жен и матерей, не желающих верить в то, о чем сообщали «похоронки». Дети росли без отцов. Матери, изнемогая от усталости, валили лес и рыли окопы. Сколько терпения и любви к детям несли в своих сердцах педагоги военной поры, которые, как могли, оберегали их детство.

Анна Михайловна Лапшина – первая учительница Андрея. Помнил ли он о ней? Помнил ли, как учила она писать между строк на старых газетах и книгах, как собирали подарки для фронта? Помнил ли ее перебинтованные руки, пораженные экземой?.. Мария Ивановна Назарова запомнилась тем, что ходила в разных башмаках, потому как носить было нечего. Да и не до нарядов было. Лучшее выменивалось на продукты. А вот очень высокая некрасивая Ольга Александровна Батырева, учившая петь букву «О», ходила в разных валенках, но с лисой. Мария Александровна Львова запомнилась своим участием в незамысловатых детских утренниках.

Вместе со своими учительницами школьники заботились не только о школе. Шла война, и внимание нужно было многим, поэтому среди старших ребят, учеников 3-4 классов всегда находились тимуровцы. Помогали фронту, собирая посылки с кисетами, платочками и печеными колобками; помогали взрослым в поле; выступали с номерами художественной самодеятельности в госпитале.

Школа как школа. И дети оставались детьми. Имели свои секреты, забавы. Предоставленные зачастую самим себе, вели свою ребячью жизнь. Мальчишки рыбачили и катались с ледяной горы, гонялись друг за другом, любили сидеть на крыше, над входом в подвал, и висеть на окнах, крутили по очереди динамо-машину, когда в школу привозили фильм. Зимой незаменимой забавой была гора. Ее сооружали все. Это был своего рода уклад, традиция юрьевецких детей в те годы. Носили воду, обливали гору, обкатывали... Лед берегли, гоняя тех, кто покушался на него «аэросанями», режущими гладкую поверхность. Летом делали запруды. И с девчонками старались не дружить – задразнять.



Многое из школьной жизни её прежних учеников забылось, возможно, запомнилось что-то другое, но, так или иначе, все это было. И если когда-нибудь вам случится побывать в Юрьевце, обязательно найдите на центральной площади старинный оригинальной постройки дом, окна которого скрыты большими деревьями, посаженными когда-то неутомимой Людмилой Александровной. На школе пока нет памятной доски, но вы уже знаете, что здесь учились и работали замечательные люди.

\*\*\*

Однажды в проводившиеся у нас Дни Андрея Тарковского одна из гостей сказала мне: «Знайте, что всем, кто связан каким-то образом с жизнью Андрея Тарковского, он приносит счастье».

Юрьевец, как, впрочем, и множество других малых городов России, не затерялся в лабиринтах истории, которая была и жестока к нему, и благосклонна. И по сей день нет-нет да и появляются новые интересные страницы в летописи нашего края. Живописная и всегда неповторимая Волга; светлые рощи и облачные горизонты пашни; простые и незатейливые нравы провинциальных жителей; воздух, пронзительный и пьянящий... Кто знает, может, это пусть чуть-чуть, но все же вросло незримыми корнями в судьбу маленького Андрея Тарковского и тихонько жило, как живет детство в памяти и в сердце всех людей. Это прошлое небольшими светлыми лучиками вспыхивает в темных уголках нашей памяти и обретает новую жизнь, передаваясь в будущее для того, чтобы опять позабыться или возродиться вновь...

Самым дорогим для меня фактом из жизни Андрея Арсеньевича Тарковского стал его приезд в Юрьевец в конце 1973 года, когда он начал работу над фильмом «Зеркало». Какие воспоминания привели его в город военного детства? Какой след оставило в его душе то далекое время? К сожалению, узнать об этом подробно теперь вряд ли возможно. В 1973 году Тарковский увидел уже другой Юрьевец: большая вода Горьковской ГЭС внесла свои коррективы в городской ландшафт. Иногда мне кажется, что, если бы не эти очень существенные изменения в жизни города, фильм был бы иным.

Время идет быстро. И жизнь наша просто невозможна без изменений и утрат. Грустной оказалась судьба Юрьевца. Жизнь города с древнейшей историей бесцветна и скучна. Прошлое тоже постепенно уходит из Юрьевца: прекратил своё существование краеведческий музей, отсутствует серьезная краеведческая работа, и, как результат, подрастающее поколение практически не знает истории своего края. Не болит сердце у юрьевчан за свой город. Равнодушно взирают люди на разрушающиеся памятники старины. Бурьяном зарастают не только улицы, но и души. Но будущее у Юрьевца все же есть. И обязательно рано или поздно найдутся люди, которые захотят и смогут возродить его былую славу. Потому что в этой вот изменчивости с утратами и заложено самое важное: через потери и скорби душа человеческая более всего способна



к очищению и спасению, то есть становится способной к возвращению домой, к истокам, к истине... Только растратив и потеряв все лучшее, что изначально было заложено в нас Творцом, мы, как блудные дети, наконец-то начинаем осознавать, что не приобрели ничего, кроме усталости и болезней. Боль и раскаяние, осознаваемое нами через память и совесть, неизбежно возвратят нас туда, где было лучше всего. И как же тяжело человеку, когда нет уже на земле места, куда можно вернуться, и нет уже тех самых родных, которых можно обнять, чтобы простить друг друга и — проститься.

Еще в конце 60-х годов Андрей Тарковский задумал фильм о своем детстве, о маме, о своей любви к ней. Фильм-исповедь, в котором и должно было прозвучать самое трудное и простое слово — «прости». Однако в 1973 году в Юрьевце Андрей Арсеньевич увидел уже не свой дом, не свой город и не свою реку; не увидел того, что предполагал показать в новом фильме и что связывало его с детством. Вот разве что Симоновская церковь без крестов, о которой Андрей помнил всегда. Он даже писал: «Если я хочу сочинить для своего фильма что-нибудь толковое, я слушаю Баха и вспоминаю Симоновскую церковь».

Сегодня на куполах этой прекрасной церкви вновь сияют кресты, те самые, которые в 30-е годы сбрасывали на глазах маленького Андрея и которые, слава Богу, спустя много лет возвращены на свое место чьей-то очнувшейся совестью. А Юрьевец 70-х уже давно не был Юрьевцем тех трудных 40-х годов, когда страшными, немыслимыми потерями обрушилась на страну война. На страну, где безнаказанно попирали кресты и иконы, где распинали ту самую духовность, без которой человечеству быть невозможно. ВЕРОломство всегда оборачивается войной, жестокость которой — это жестокость людей, людей без любви. И потому невинные жертвы любых войн нелюбви — всегда дети. Юрьевец Андрей Тарковский запомнил еще и потому, что здесь закончилось его довоенное и началось военное детство.

Краткие эпизодические воспоминания юрьевчан, свидетелей тех времен, во многом схожи: почти все они упоминают об одних и тех же событиях, связанных с жизнью города и горожан. Отголоски этих воспоминаний встречаются и в фильмах Андрея Тарковского, и в рассказах его сестры Марины Арсеньевны. Значит, цепкая детская память не стерлась с годами, а, отбросив незначительное, хранила то, что было событием в жизни юрьевцевой детворы.

До сих пор иногда приходится выслушивать мнение о том, что фильмы Андрея Тарковского длинны, неинтересны. Вспоминая свою первую встречу с творчеством режиссера, я втайне жалею этих людей: для них не открылась дверь в душу его фильмов, они не слышали его, не почувствовали его боли. Они смотрели глазами, а не сердцем. Сейчас я уже понимаю, в чем состоит трудность восприятия произведений Андрея Тарковского. Сдержанно и настойчиво они напоминают нам о простом и привычном, о вещах и явлениях, знакомых и забытых нами. В спешке будней и блокаде забот мы стремимся достичь каких-то благ и благополучия, принося им в жертву духовность и нравственность. Язык



выгоды и страстей вытеснил из нас язык любви и гармонии. А на разных языках общаться трудно.

Дом и мир детства, где-то там, далеко во времени и пространстве, добрая и усталая мама, стареющая тихо и незаметно, земля наших предков, искореженная равнодушием и карьеризмом, — как можно не услышать многовековой призыв о прощении и спасении?

Вспомните свои сны. Разве не снится вам ваше детство? Снится! И чем старше мы становимся, тем острее и глубже проникают в нас воспоминания.

*Владимир Терентьев*

## В ДОМЕ № 8 ПО УЛИЦЕ ЭНГЕЛЬСА

Я родился в мае 1938 года в Юрьевце. После ухода моего отца на фронт матери, как жене фронтовика, выделили комнату в доме № 8 по улице Энгельса. Переехали мы туда в 1943 году.

В доме жило 5 семей, каждая занимала одну комнату. Коридор и кухня были общими. В каждой комнате была своя печь с небольшой лежанкой, на которой сушили валенки, одежду, спасались от простуды или просто грелись длинными зимними вечерами.

В самой первой от входа комнате печная топка находилась внутри, топки остальных комнат выходили в коридор. Очень часто печи топились одновременно, обычно по вечерам, так как днем жильцы работали. Все комнаты в доме были довольно холодные, дом давно не ремонтировался, и пакля между бревнами сильно высохла — образовались щели. Через щели в полу также проникал холодный воздух. По периметру двор был уставлен поленьями, но в войну дров у всех было мало, было холодно да и голодно.

Электричества не было, по вечерам освещались керосиновыми лампами, керосин экономили и поэтому спать ложились рано. Запасы керосина хранили в 10-20-литровых стеклянных бутылках в подвале дома.

У каждой семьи была своя «территория» в подвале. Три семьи в подвал ходили через лаз в кухне и занимали половину его, семья в последней комнате справа по коридору владела второй половиной подвала. У Марии Ивановны Вишняковой (Тарковской), кажется, не было доли в подвале, наверное, за отсутствием надобности.

В первой комнате слева по коридору жила пожилая одинокая женщина Анна Дмитриевна Харламова. Она работала в домоуправлении и некоторое время была домоуправом. В последней, справа по коридору, обитали Вера Анатольевна Устинская с дочерью и Елена Николаевна Ерохина. Эти женщины не

были родственницами. Вера Анатольевна работала в райсобесе, Елена Николаевна не работала. Еще одну комнату занимала Екатерина Васильевна Тютникова с сыном Володи. Тарковские жили в первой комнате справа по коридору.

В каждом углу коридора висел умывальник с ведром или тазом внизу. Сколько помню, Тарковские умывались вместе с Верой Анатольевной, у которой и после войны еще долго стоял красивый, высокий, в человеческий рост, умывальник из кованого железа. Кажется, это было наследство Веры Николаевны – матери Марии Ивановны. Около нашей двери стоял их сундук.

У Веры Анатольевны в комнате стоял большой резной шкаф темного цвета, тоже очень красивый, и похожий по стилю стол с толстыми резными ножками. Позже моя мама говорила, что и сундук, и мебель также достались Вере Анатольевне после Веры Николаевны, которая до войны занимала всю правую половину дома (в левую стали заселять жильцов только накануне или во время войны). А раньше этот дом принадлежал Гурылеву с большой семьей. Они и строили его сами. Когда власти отобрали дом, Гурылев с сыном жили в своей бане, благо она тоже была большая.

Жили все очень дружно, тихо и спокойно. Двери комнат никогда не запирались, царил полное доверие. Исключение составляла Харламова. Она была угрюма, молчалива и агрессивна, если ей что-то не нравилось. Другие жильцы с ней старались не общаться.

Каждую субботу мыли полы по очереди (по едокам). Полы были некрашенные, и терли их дресвой (дробленый камень, состоящий из сросшихся мелких камешков, каких было много в Георгиевской горе), голиком с водой до белизны.

Пищу готовили на общей кухне, на керосиновых примусах, или в печках. На кухне у каждой семьи тоже был свой угол. Наш угол был дальний, рядом с нашим столом стоял тумбовый стол Тарковских.

В комнатах у всех были радиорепродукторы, которые почти никогда не включались. Слушали сводки с фронта, музыку, больше классическую, радиотрансляции спектаклей, постановки по книгам известных писателей.

Женщины в меру своих способностей шили, вязали для солдат носки, варежки, свитера и несли их на почту для фронта. Так мы и жили в военные годы на улице Энгельса в доме № 8.

